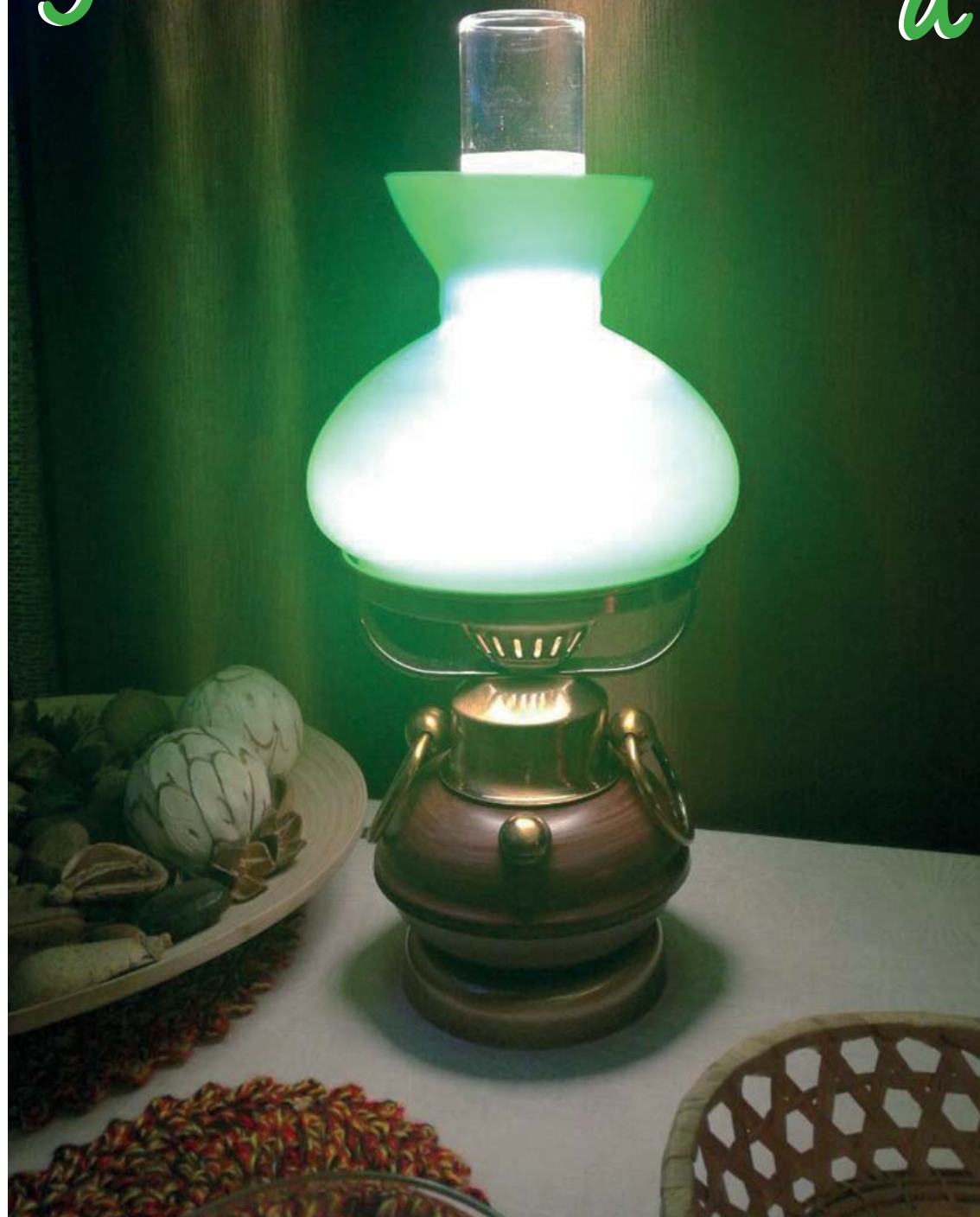


зелёная лампа





Зеленая лампа 2.0

сборник

Ульяновск, 2017

З 48 **Зеленая лампа 2.0.** Сборник. – Ульяновск, 2017. – 171 с.

Сборник «Зеленая лампа 2.0» – это не просто проза, поэзия, авторские фотоколлажи и рисунки. Книга появилась потому, что творческие люди тянутся друг к другу. Иногда из этих встреч получается нечто большее, чем разговоры по душам и обмен мнениями. Вдруг и вам, читателям, захочется присоединиться к нашей беседе? Приглашаем!

© Б-в Е., Лайков А., Половов П.,
Сафронов Е., Цухлов А. текст, 2016
© Пикалова И., Павлов И.,
Сафронова О. иллюстрации, 2016

«В этом жанре мы еще не пили...» (вместо предисловия)

Название этого сборника отсылает любого хоть немного тронутого школьным образованием читателя к Пушкину и дружеским посиделкам. Разные умные люди в разное время много спорили о том, как именно и насколько глубоко повлияло общество «Зеленая лампа» на «Наше Всё». И в наше время не перевелись еще индивиды, которые, приземляясь за столом, не просто пьют и закусывают, а зажигают. Но зажигают негромко, не спеша, по-старомодному, читая стихи и прозу.

Зажигают уютную «Зеленую лампу».

Среди суеты XXI века, среди бешеного темпа жизни, среди балабольских ток-шоу, среди бесконечной погони за денежными средствами и твиттерной, смсной краткости, которая ни разу не сестра таланта, а признак загнанности коней. Куда несетесь вы, дайте ответ?

А мы – просто дружеская компания. Не кони, а, скорее, «ул-литки» – включаем свою «Лампу 2.0», а значит это кому-нибудь нужно. Будем рады, если на её свет сползутся, съедутся гости, то бишь слушатели-читатели. А иные – и подключатся. Зеленый – разрешающий, приглашающий свет.

Творчество царит там, где есть свобода и теплое внимание дружеских глаз. Кто знает, сколько хороших произведений не появилось на свет просто потому, что от автора никто ничего не ждал? Потому, что его не подстегивала мысль: «Скоро собираемся, а прочесть-то нечего! Нет-нет, надо непременно сотворить что-нибудь!».

«В этом жанре мы еще не пили» – сказала однажды (обойдемся без имен и фамилий) выпускница филологического факультета Ульяновского педуниверситета. «In vino veritas» – это уже древние латиняне. Ну, что вы, какой литературный алкоголизм? Главное – творчество. Вот и давайте чего-нибудь натворим.

Итак, кружки с золотистым «аи» наполнены, кто-то из друзей произносит тост, а потом многозначительно поглядывает на соседа: уж ему ли не знать, что значит блеск в глазах поэта! Сегодня ему есть что прочесть сообщникам – и это совершенно изменяет характер вечера. Зеленый ненавязчивый свет творческой «Лампы» преображает лица, и обыкновенные самогонные посиделки (а слово «самогон» с древнемарсианского означает «самодетельность», «личное творчество», «свобода выражения») вдруг обрастают историческими связями и литературными ассоциациями.

Что ж, перед вами первый выпуск нашей «Зеленой лампы». Отведай и ты, дорогой гость, из нашего кубка.



Андрей Цухлов

До востребования

рассказ

Ленка Сумчатая

У неё была вымирающая профессия – почтальон. И жила она в деревне Грибовке, которую местные невесёлые шутники называли Грбовкой, потому что похороны в ней случались гораздо чаще, чем появления на свет. Самих шутников становилось все меньше, потому и юмор, равно как и все другие признаки человеческого бытия, здесь постепенно таял.

Грибовка не могла оставаться в стороне от того, что в первом десятилетии двадцать первого века люди почти перестали писать друг

другу письма, то есть старым способом, ручкой на бумаге, оттого, что они перешли от сложных повествований и сочинений к молниеносным и кратким сообщениям, и даже само слово «сообщение» сократилось до трех букв «СМС». Теперь все прилагаемые к бездушно-электронному тексту чувства умещались в нехитрый перечень смайликов, желтых рожиц, обозначающих радость, восторг, огорчение и некоторые другие разрешенные производителями электронных устройств эмоции. Появилась возможность видеть собеседника, где бы он ни находился, почти в любом месте Земли. Как это повлияло на близость отношений – вопрос отдельный.

Об этом зачастую задумывалась Лена, коренная, так сказать, грибовчанка. Размышления были примерно такие: «Вот раньше, – захотел почитать книгу, живую, бумажную, – идешь в библиотеку, сидишь в читальном зале, шелестишь страницами, а они пахнут этой самой библиотекой, клеем. Теперь – нажал на экран, как сейчас говорят подростки, девайса – и читай, хочешь – слушай, хочешь – видео смотри... А в том-то и дело, что не хочешь. Уж очень доступно все. Не надо сдавать килограммы макулатуры, чтобы получить «Графа Монте Кристо» или избранное собрание сочинений Достоевского. Чтобы потом с гордостью показывать гостям книжный шкаф, вот, мол, какие книги достал. Еда всегда вкуснее, если голодный, неизбалованный, если есть, как в советские времена, дефицит и деликатесы. И с письмами – так же. Лист бумаги, неповторимый почерк человека, который для тебя важен, почтовый ящик, потертый, железный, который открывается с этаким скрипом, и почтальон, живой, настоящий, вроде меня, у которого в сумке письма, письма, среди которых есть, может, самое важное... Сегодня в почтовых ящиках – пустота. Их содержимое перекочевало в другой, виртуальный мир. А они, ящики, еще остались, скрипят, как старики, ворчат и вспоминают, какие письма, какие газеты и журналы попадали в их всегда теперь незаполненное брюхо».

В Грибовке и окрестностях её звали по-разному: Ленка-почтальонша, Леночка-почтальон, в зависимости от того, как к ней относились жители и какие послания она им приносила. А ещё некоторые за глаза называли её Сумчатой – из-за привычки носить довольно внушительную сумку на животе. Вот уже семь лет она работала на почте и таскала эту сумку из кожзаменителя, и даже под её грузом приобрела чуть заметную сутулость. И когда ей подруга-ровесница Наташа, двадцатидевятилетняя продавщица из местного сельмага, говорила: «Ну чего ты за эти копейки горбатишься?» – то смысл получался и прямой,

и переносный. И чтобы совсем отточить образ, Наташа добавляла: «Вот ради чего? На доску почета тебя не повесят, премию не дадут. А наградят, ты, Леноч, орденом Сутулова!» – «Надо же кому-то почту носить, – отвечала обычно Лена. – Да и куда я пойду с двумя детьми?». И действительно: в селе вариантов больше не было, уезжать в город – невозможно, детей оставить нельзя, да и боязно было той городской жизни. И чем дальше, тем боязней.

Да и некогда было думать Лене о карьерных прорывах, благосостоянии, революциях в личной жизни или манне небесной. Вставать приходилось рано, собирать младшего Женьку в детский сад (в Грибовке было дошкольное учреждение, куда приводили аж восемь детей). Бывать он там ох как не любил, потому что воспитательница, толстая тетя Фрося, все время говорила: «Смотрите, не обкакайтесь у меня!». И там кормили противным омлетом и тошнотворным молоком с пенками. Несъеденное громогласно подвергалось обещанию «вылить всё это за шиворот». Поэтому сонный Женька хныкал, гундосил, распускал сопли, не мог попасть рукой в рукав рубашонки.

Старшая Анька, второклассница, просыпалась сама под пение недорезанных петухов, тоже нехотя одевалась, заглядывала в приготовленную с вечера школьную сумку. Ей опаздывать было нельзя: учиться приходилось в соседнем селе Петровском, более крупном, где базировалась администрация поселения. В Петровское свозили ребят из окрестных деревень, грибовская школа была закрыта областным на-



чальством «в рамках оптимизации общеобразовательной сети и в целях повышения качества общего образования». Некоторые учителя из Грибовки вместе с детьми ездили в Петровское на одном микроавтобусе. Поначалу Лена боялась отпускать дочь, да деваться было некуда.

Хорошо, что с ними вместе жила мама Лены, Полина Ивановна, её в селе все звали тётя Поля, она помогала: и детей накормить, и в садик отвести младшего, хотя у самой суставы болели и давление скакало так, что иногда даже сознание терялось. Понятно, что денег ни на что не хватало, ни пенсии тети Поли, ни зарплаты почтальонской. Кто же будет хорошо платить, если профессия вымирающая...

Ну а с мужем своим Лена никогда особо счастлива не была, разве что до свадьбы, когда с таким томлением ждала ночи, чтобы ускользнуть из дома и шататься с Сашкой по окрестностям, наслаждаться всяческими запретными плодами. Это была свежая, гибкая, безбашенная молодость, дурманящая пахучей новизной, безбрежностью будущего. Но, как это бывает, расплескать её получилось быстро. Саша затосковал, стал всё больше и больше пить. Остатки бывшего колхоза окончательно растащили, работы в селе не было. Его это злило, особенно когда на свет появилась Анечка. Ссоры, скандалы, упреки. Однажды Саша чуть не умер от паленого спирта, который распили с мужиками. Вообще, в деревне на людей, которые пили магазинную водку, смотрели как на идиотов, считали их транжирами или мажорами. И понятно, что ни транжирами, ни мажорами никто быть не хотел. Трое мужиков распрощались с этим миром именно через сомнительные жидкости, стеклоочистители. Бывало, в аптечный пункт привозили спиртовой настой «перца стручкового», и местные на него одно время подсели.

Едва спасшись от объятий того света, Саша, будучи не на шутку напуган, решил завязать, месяц ходил мрачный и трезвый. Но делать всё равно было нечего. Или не совсем так: дел было выше крыши, в деревне-то только поспевай, только заработать было невозможно. Вот и решил он податься вахтовым методом в Ханты-Мансийск, в «нефтянку», как уже сделали несколько молодых грибовских мужиков. Правда, вот что его сдерживало: жёны «вахтовиков» стали погуливать, не всецело посвящая себя ожиданию своих благоверных.

Конечно, благоверность уехавших тоже была сомнительна. Поэтому тут уж было так: куда ни кинь – везде клин: здесь в нищете жить невыносимо, всем вместе уехать нельзя. И с долгими рабочими командировками семья распадалась естественным образом. Так произошло и с мужем Лены: поначалу он привез неслыханную сумму, но она вско-



ре растаяла, – на детей, на одежду, на новый мобильный телефон, хотя сотовый сигнал в селе был неважнецкий. Второй раз полярная северная ночь проглотила Сашу и переварила. Он попросту исчез. Оставил ей только свою фамилию «Касатонов» – и исчез. И вот уже полтора года от него не было ни слуху ни духу.

Поговаривали, что он завел себе богатую женщину и уехал с ней в другой город, а то и за границу. Наташа, забегавшая нередко к подруге поболтать, высказывала версию, что он там спился и бомжует. Заявление в полицию (которую здесь по старой привычке упорно продолжали называть милицией) о пропаже человека не сработало. Как говорят, «план «Перехват» результатов не дал. А жизнь шла своим чередом, шла мимо, кого подбадривая, а кого и втоптывая в землю.

Вот и осталась Лена ни вдова, ни жена, и вроде как несвободная. Всё реже дети спрашивали: «Мам, а когда папка придет?». Всё меньше находилось в потоке мыслей места для уехавшего на Север человека. И рванула бы на поиски, как жена декабриста, по его следам, да как детей на шее у бабушки оставишь? Случится что – и как дальше? И вот уж полтора года ни одного мужика к себе близко не подпускала: и страшно, и стыдно, и надежда на возвращение крохотная оставалась, хотя порой Лена думала, что уж и не надо никакого возвращения, ничего из этого хорошего не выйдет. Нечто подобное двенадцать лет назад произошло и с её отцом: он просто переехал в другой район без объяснения причин. Некоторые умники называли бы это кармой.

Место работы Лены, точнее эпицентр этой работы, было в Петровском. Там, в местном отделении «Почты России» она каждое утро получала корреспонденцию, чтобы разнести по селу (с недавних пор оно официально стало именоваться «Петровское сельское поселение») и окрестным деревенькам. Своей машины у почтового отделения в Петровском не было. Если везло, то везло, местные попутки обычно Сумчатую не обижали.

Пройдя адреса по Петровскому, Лена шла за три, четыре, шесть километров: в деревню Избенки, где доживали свой век одиннадцать бабушек, приходилось ковылять через лес в Марьино. Рассказывали, что на этой дороге можно встретить волков, которые в последнее время расплодились и нападали на овец и телят. А еще болтали, что именно на Марьинской просеке ночью видели свинью с человеческими глазами. И будто мальчишки из Петровского загнали её, изловили и отрезали ухо. На следующий день вроде у старой бабы Вали Терехиной было ухо платком замотано. Про неё же ходили слухи, что она в сарае с бесами водилась, раздевалась, кувыркалась через двенадцать ножей и обращалась в свинью.

Но Лена, хоть и пугалась таких рассказов, знала, что всё это чушь, что баба Валя при жизни была добрая старушка, которая страдала потерей памяти и была в последнее время совсем глухая. Лена помнила, как носила ей пенсию, как она всё порывалась угостить Лену «чаёчком». Одинокая-преодинокая, потерявшая молоденького мужа в конце войны. Лена шугала мальчишек, которые залезали к ней в сад поживиться яблоками, сидела и слушала её воспоминания, всю её «бывалошную жизнь». «“Добрые” у нас люди, любят за глаза говорить. Надо же: 12 ножей...». Впрочем, невольно Лена, сидя за чаёчком, искала глазами ножи, смотрела на повязанный платок и потом ей становилось стыдно за эти мысли.

Нет, людей Лена боялась больше, чем волков и оборотней. В прошлом году на дороге в Грибовку к ней пристали незнакомые пьяные подростки и отобрали сумку. Там была пенсия трех грибовских бабушек, они её забрали. Сумку вернули, полоснув по ней ножом; до сих пор эта рана у сумки не может зажить, и очевидно, никогда не заживет. Тогда Лену будто парализовало, она боялась, что её пырнут, что её будут домогаться. Но юных налетчиков интересовали больше деньги на выпивку. Потом Лена очень переживала, что не вступилась за эти пенсии, что не закричала, не позвала на помощь.

А еще она до дрожи боялась свою начальницу, которая руководила почтовым отделением в Петровском. Это была классическая стерва,

безмужняя, высокомерная Ольга Вениаминовна, которая не разговаривала с людьми, а отчитывала их. Она носила один и тот же синий костюм, строгую длинную юбку, зато прическа всегда отличалась жутким разнообразием: то она накручивала себе какие-то воланы, то сооружала на голове почти египетские пирамиды, то перекрашивалась в разные цвета, даже в фиолетовый. «Петровское отделение! – говорила она в трубку со смесью официальности и презрения. – Выражайтесь яснее, по существу! Женщина, ничем не могу вам помочь!.. Вы что, меня не слышите? Я русским языком говорю: ничем, слышите, ничем не могу вам помочь!».

Как она орала после того случая с подростками! Грозилась уволить, называла безответственной, безалаберной, и так в несколько заходов за полчаса, как рыба-пила. В итоге Вениаминовна заставила написать Лену объяснительную, а бухгалтерии поручила удержать сумму утраченных пенсий из её зарплаты. И хотя деньги были в общем небольшие, но двухмесячный заработок Лены накрылся медным тазом. Вечером со слезами обиды и стыда она просила в долг у Наташи.

– Гнида эта твоя Вениаминовна, – говорила Наташа, – одолжу, конечно, о чем говорить. Отдашь, как сможешь. У самой твоей начальницы ни детей ни плетей, вот и злая как собака. Нашла кого обижать, Ленка моего!

Она обняла растерянную и благодарную подругу и предложила: «А давай на неё порчу наведем! Я это – быстро! Поговорю кой с кем, и все её крашенные волосы повыпадают! Глядишь, и собьем спесь с нее?!»

– Что ты! – запротестовала Лена, – как это можно! Она же несчастная женщина, если разобраться...

– Себя бы пожалела! – возмущалась Наташа. – Ты я смотрю у нас больно счастливица! Ну ладно, но смотри: еще она тебя так обидит раз, устрою я ей танцы с саблями... А своему скажу, чтобы тебя до Петровского на машине подбрасывал, старайся туда больше ногами не пехать...

Все же Наташа – молоток. Прямо не подруга, а круг спасательный.

– Надо тебе, мать, газовый баллончик раздобыть. Пшик – в харю, и всё! – продолжала она рассуждать.

– Ну куда мне, Наташ, я еще с перепугу в себя прысну. Ну в одного попаду, а другие? И куда я потом от них с сумкой сбегу?! Да и не смогу я – человеку – в лицо, в глаза...

– Человеку! В лицо! – передразнивала ее подруга. – Кабы человек был с лицом, а то гаденыши тупые, так и придушила бы вот этими руками! Поколение пепси...

Наташа показывала свои руки, сильные, нешуточные. Эти руки не раз отвечивали «по шам» мужу-выпивохе, плюгавенькому типчику абсолютно недеревенской внешности. Как и почему они до сих пор жили вместе – это была одна из загадок мироздания. Может, потому что она продавала в сельмаге продукты, а он их туда привозил из райцентра на УАЗике, тоже «бывалошном» и глухом, как баба Валя. То есть всегда глох, и достучаться до него – надо было постараться.

Рядовой Платонов

Стояло солнечное Вербное воскресенье, Лена накануне срезала несколько веточек, которые теперь пушистились на столе в вазочке. В приоткрытое окно врвался воробьиный гомон, и эти незатейливые птички, казалось бы серые, сегодня трубили, ликовали, шумели, словно единственный раз им позволили расслабиться, покричать, вволю наворобиться, прервать свой предначертанный жизненный путь праздничным воплем, который, конечно, мало кто заметит, никто не оценит, но это неважно, неважно, потому что это этот крик – самое главное из того, что останется от этих птах. А солнце? Оно впервые за год лизнуло своей атомной энергией землю, и там, под коркой ошпаренного снега, очнулась трава, взбодрилась почва и тоже впервые задумалась, какому растению дать ход, а какое придушить как бесполезный сорняк.

Домашних дел за неделю накопилась уйма: надо было начинать вскапывать огород, натопить баню, постирать белье, приготовить с Аней уроки на завтра. Полина Ивановна, склоняясь над швейной машинкой, пыталась прострочить шов, несмотря на дрожащие руки. Женька ползал по полу и, перевоплощая в своем воображении кусок деревяшки в машину, сосредоточенно двигал её по невидимой дороге со звукам «вжжжж», пускал слюни.

«Надо Женьке машинку купить в Петровском или в городе заказать кому, а то мальчишка, а машинки и той нету», – подумала Лена, выходя за водой до ближайшей колонки.

Захлопнув калитку, она с удивлением заметила листок бумаги, выглядывающий из почтового ящика. «Это что же, почтальон здесь я, а тут какое-то послание – мне». Лена поставила ведра на землю, с

легким скрипом открыла рот металлического ящика и достала письмо. Ее удивление росло стремительно: это был старый конверт аж времен «Почты СССР», 1980 года с портретом полководца Александра Суворова. На нем выцветшими чернилами были выведены индекс Грибовки и адрес Лены: «Заречная, 28», но никакого штампа, оттиска или печати, которые позволили бы определить почтовое отделение, не было. А в графе «Индекс предприятия связи и адрес отправителя» значилось: «В/ч 1941, Николай Платонов, до востребования».

«Кто такой Николай Платонов? Почему мне? Что за конверт, который лет 25 как не используется для почтовых сообщений?». Пальцы почувствовали, что внутри конверт не пустой. Лена посмотрела сквозь него на солнце, но толком ничего разглядеть не смогла. Охваченная любопытством и удивлением, она сходила за водой (негоже возвращаться в дом с пустыми ведрами) и, скрываясь от детей и матери в сених, оторвала краешек конверта и извлекла оттуда листок бумаги, сложенный вчетверо, который на вид был еще более древний, чем конверт. Он был словно вырван из какой-то забытой тетради в линейку, с грязными разводами и пятнами. Было ощущение, что это письмо из школьного музея. Почерк – рваный, поваленный вправо, словно старый деревянный забор. Стала читать:

«Здравствуй, Лена.

Меня зовут Николай. Мне так и видится твое лицо, видишься ты, не понимающая, что это за письмо. Очень прошу, не выбрасывай его сразу, дочитай до конца. Я долго, очень долго, боялся тебе написать, потому что всегда был нерешительным, но мне уже терять нечего. Там, где я нахожусь, очень скучно, да и родственников у меня нет, потому что я детдомовский, хотя родом, как и ты, из Грибовки. Просто мне бы очень хотелось, давно хотелось, чтобы кто-то знал, что я, скажем так, существую. Писал мне письма. Вспоминал обо мне. Иногда я представляю, почти вижу, как ты возишься с детьми, идешь на работу со своей сумкой, нетребовательная, одинокая, беззащитная, мне хочется сделать для тебя что-то хорошее...»

Лена испуганно осмотрелась по сторонам, хотя ничего нового вокруг не произошло. В глазах помутилось, по спине побежали мураш-

ки. Сердце билось, словно строчил пулемет. Это просто какой-то бред. Она глубоко вдохнула и вновь впилась взглядом в покосившийся забор почерка...

«Я очень далеко. Вряд ли мы встретимся по-настоящему, ну точно еще долго не встретимся, поэтому ты можешь быть спокойна. Я вот чего осмелюсь тебя попросить, да, это странная просьба, да, я понимаю, что, скорее всего, ты мне откажешь. Но всё равно: я тебя прошу иногда писать мне. Немного, пусть несколько строчек, можно нечасто, хоть раз в год, но даже от этого мне будет радостнее. Письма опускай в свой почтовый ящик на калитке. Прости за то, что потревожил. Если нет, не обижусь, значит, так тому и быть. С поклоном и надеждой на ответ, рядовой Николай Платонов».

Лена сложила листок в конверт и спрятала в карман. Занеся ведра в дом, она спросила:

– Мам, не видала, к нашему почтовому ящику никто не подходил, никакие бумаги в него не кидал?

– Что ты, Леночка, – откликнулась Полина Ивановна, – кто ж в него чего положит? Ты ж у нас почту разносишь по ящикам аль нет?

– Ну да, ну да, – растерянно бормотала Лена, глядя на Женьку, который, раздобыв какую-то палку, прицеливался и стрелял из нее, будто из винтовки: пш-пш!

Она села на диван, с минуту помолчала и снова спросила:

– Мам, а у нас в Грибовке Платоновы никогда не жили?

– Платоновы? Не знай, дочка, не было у нас никогда таких... Вроде в Марьино жили раньше давно, щас-то нет... У нас точно не было. Да ты сама лучше меня все фамилии знаешь, списки там у вас на почте есть... А чёй-то ты какие вопросы задаешь, за водой она сходила. Может, тебе там голову напекло?

– Да я так просто. Просто так, – забормотала Лена. – Спустишь в погреб за картошкой!.. Просто так.

Она спрятала странное письмо на дно своей сумки и спустилась в погреб. «Ничего не понимаю, – думала Лена. – Выглядит все как розыгрыш, сейчас же можно всё подделать, бумагу обработать, типа под старину стилизовать. Но кому это надо, зачем? Первое апреля прошло. Кому-то романтики захотелось, слова такие...». Она выбралась в комнату с пакетом картошки и услышала голос матери:



– А вроде был перед войной, говорят, у нас какой-то Платонов, сирота. Родителей то ли раскулачили, то ли умерли они. И вроде он пришел после детского приюта в колхоз работать на трактор. А как война началась – так на фронт ушел со всеми мужиками, молоденький совсем.

– И что? – спросила Лена и почувствовала, что у нее холодеют руки.

– И говорят, сгинул там, пропал без вести.

– А звали его как?

– Ой, не помню, дочка, может, Михаил, а может, Николай, не помню. А чтой-то вдруг про него заговорила?

– Да так, интересно просто. Просто интересно.

С этого дня Лена выуживала со дна своей сумки конверт, перечитывала его по несколько раз и в недоумении прятала обратно. И ни с кем она не решалась поделиться этой тайной, даже с близкой подругой Наташей, и письмо это словно жгло, оно как будто делало сумку тяжелее, словно и не лист бумаги это, а бандероль или посылка, которую и бросить нельзя, и отдать никому не возможно.

«Если это шутка, то не смешная и даже жестокая шутка», – думала она.

Почпальон Пушкин

– Та-а-а-к... Опять наше высочество не соизволило явиться на работу вовремя, – встретила Лену Вениаминовна интонациями, не предвещающими ничего хорошего.

– Простите, Ольга Вениаминовна, автобус задержался...

– Значит, я, недостойная, на работу не опаздываю. А почту за тебя кто разносить будет, Пушкин, что ли? У тебя сегодня три бандероли, 17 извещений, 13 писем, и не только по Петровскому...

– Я все сделаю, Ольга Вениаминовна.

– Смотри у меня, Касатонова. А что если проверка придет, а тебя на месте нет? Мне что, прикажешь изворачиваться, врать, что ты корреспонденцию разносишь? Ты хочешь, чтобы я за тебя перед руководством краснела?

Лена представила пунцовую Вениаминовну, опустившую взор в пол, а перед ней самого Президента, сидящего за столом, постукивающего по нему пальцами. «Так-так, как вас там, Ольга Владимировна, если не ошибаюсь...». – «Вениаминовна». – «Значит, Вениаминовна. Я вот не пойму, почему вы, вполне себе ответственный работник «Почты России», заставляете своих подчиненных исполнять несвойственные им профессиональные обязанности? Почему вы как руководитель начального звена не организовали работу Петровского почтового отделения надлежащим образом?». «П-почему, я все организовала, вот у меня в кабинете и портрет Ваш висит, и отчетность в порядке, и бухгалтерия, и журнал поступлений ведется... Даже грамота у меня от Минсвязи имеется за плодотворный многолетний труд на поприще, то есть во благо и в связи с юбилеем...». «Это всё, конечно, хорошо, Ольга Владимировна». – «Я Вениаминовна...». – «Тем более. Поэтому как Президент России, который тоже вынужден пользоваться услугами «Почты России», хотел бы вам указать на ряд недостатков, а в отдельных случаях и существенных недоработок. Возьмем хотя бы вашу, с позволения сказать, кадровую политику. Почему у ваших подчиненных зарплаты маленькие, почему вы заставляете их писать кучу ненужных бумажек, почему вы принуждаете сотрудников продавать всякую ерунду типа стиральных порошков, моющих средств и зубной пасты, какое отношение это имеет к почте? Почему в соседние населенные пункты ваши сотрудники ходят пешком? Почему у вас люди стоят в очереди с извещением, чтобы получить письмо, и ещё неизвестно, получают они его или их просто обхамят? Почему у вас тут, в Петровском отделении, реклама всяких микрозаймов «до зарплаты» и

для пенсионеров? Они и так все в долгах и кредитах, вся Россия парализована этими «легкоденьгами», а вы еще и на почте это впариваете?! Так что Ольга, как вас там по отчеству, я как Президент Российской Федерации, объявляю вам строгий выговор с занесением». – «Мы исправимся, мы исполним все Ваши указы и поручения, мы станем образцовым отделением», – лопочет красная Вениаминовна. «Устал, я от вас таких, – машет рукой Владимир Владимирович, – да что уж брать-то с вас, если тут до сих пор Пушкин корреспонденцию разносит...».

– ... Я с тобой разговариваю, Касатонова, – Лена поймала себя на мысли, что улыбнулась прекрасному видению. Она вздрогнула и снова вернулась в этот мир, в котором всегда перед всеми виновата.

– Я тут как-то в интернет заглянула и вот что обнаружила, – продолжала Вениаминовна. – Анекдотов про «Почту России» до обидного полно. Вот, например: «Внук решил отправить деду в деревню коньяк пятилетней выдержки, поэтому купил трехлетний и отправил «Почтой России». «Мало кто знает, что «Почта России» является автором таких изобретений, как сыр с плесенью, уксус и изюм». И вот как тебе: «Делаем деньги с «Почтой России» – заказываем в интернет-магазине стул. Выбираем доставку почтой. Получаем посылку, а в ней уже антиквариат». А эти кавээнщики тут лягнули по телевизору: «Это почта: здесь все для того, чтобы никто ничего не понимал...». А всё почему – потому что такие почпальоны, как ты, не могут на работу вовремя прийти и почту разнести быстро не могут. Потому что ты, Касатонова, безответственная.

Лена молчала и ждала, что за анекдоты в интернете ей сократят и без того крохотную зарплату. И тогда точно придется проситься к Наташе в магазин или искать какую-нибудь другую работу. Но Вениаминовна на этот раз не стала применять особых репрессий. Но дальнейшие её слова Лену тоже не успокоили.

– В общем так, Касатонова. Через три недели в областном центре пройдет конкурс «Мисс «Почта России»-2015. Нам спустили разнорядку с требованием представить участниц от района. Мы посоветовались с коллегами и решили командировать тебя. Отстоишь нашу честь, так сказать. Условия конкурса мне скинули, ознакомься. Походишь там по сцене, задом повертишь, ты бабешка вполне себе смазливая, если приедешь, причесать и сделать мейкап. Ты хоть знаешь, что такое мейкап?! В общем, готовься. А сейчас – бери корреспонденцию и дуй по адресам.

Лена посмотрела на распечатанный листок. Конкурс состоял из самопрезентации, творческого соревнования и дефиле в разных наря-

дах и даже, – о кошмар! – в купальнике. Ходить по сцене, когда на тебя смотрят сотни глаз, мужчины там всякие, это – невозможно! А еще – фотоаппараты, видеокамеры, да еще это в газеты попадет, в интернет... Этот позор был страшнее гнева начальницы.

– А можно, я не буду участвовать? – робко спросила Лена.

– Чего-чего? – взъерилась снова Вениаминовна.

Уважительную причину Лена придумать не успела. Да и не умела она врать. Даже во спасение.

– Будешь, еще как будешь. Куда ты денешься с подводной лодки.

Эту мерзкую фразу про подводную лодку Лена слышала много раз. И именно она окончательно добивала все её робкие попытки возразить.

Лена взяла сумку и вышла на воздух. Хождение по адресатам имело один большой плюс: в это время она не находилась в замкнутом пространстве со стервообразной начальницей.

«Жаль, что Президент никогда не заглянет в Петровское», – думала она, вышагивая по селу, представляя, как она будет в купальнике (на котором, наверно, будет приляпан кружочек с номером) стоять на сцене и деланно улыбаться под масляными глазками зрителей.

Мероприятие

В актовом зале Петровской школы было устроено мероприятие, посвящённое наступающему Дню Победы. Никто толком не понимал, что это – праздничный концерт, день памяти, встреча с ветеранами, поэтому учителя так и говорили – «мероприятие». Зал украсили шариками, на плакате был нарисован солдат-победитель в каске и автоматом ППШ, улыбающийся, лишенный индивидуальных черт. Немногочисленные старшеклассники долго возились с звукоусилительной аппаратурой, пока не отладили звук микрофона, который постоянно норовил пронзительно гудеть. Потихоньку подходили сельчане, рассаживались по местам, привели последних фронтовиков – Семена Петровича Никифорова и Клавдию Никитичну Прокофьеву. Семен Петрович почти ничего не слышал, голос был тихим и сиплым, годы согнули его в поклоне, словно в благодарность за долгую жизнь, которая еще в юные годы могла оборваться от шальной пули или прилетевшего осколка. Было сложно представить, как он, девятнадцатилетний, низкорослый, освобождал Венгрию и Австрию. Бывало, что он забывал, что было пять минут назад, но помнил почти все деревеньки и сёла, которые



он прошел с боями в Европе, помнил каждого пристреленного немца, благо, их было немного, всего три. Помнил своего командира, который грозился его расстрелять, потому что Семен принес ему несвежей воды, и у того случилось расстройство желудка, страшно неуместное при марш-броске. Клавдия Никитична в войну была медсестрой, и непонятно, как она не сошла с ума от солдатских страданий, стонов, криков, набухающих кровью бинтов, покалеченных тел, безруких, безногих, обреченных молодых и не очень молодых бойцов. И когда её внучка, уже взрослая девушка, говорила, что боится идти лечить зубы, Клавдия Никитична не возражала. Она невольно вспоминала тех ребят в полевом госпитале и больше всего на свете хотела, чтобы никто не страдал. Даже от кариеса. Даже от лечения кариеса.

Лена собралась с духом и отпросилась у Ольги Вениаминовны в школу, ведь Анечка должна была петь в хоре. Она увидела в актовом зале немало знакомых лиц. Многим она носила письма, выдавала бандероли. Да и вообще в деревне все всех знают, поэтому личная жизнь здесь затруднительна. Ну то есть все не просто всех знают, а знают всё обо всех, так что пока «сарафанное радио» Петровского превосходило своей эффективностью любые современные электронные социальные сети. Впрочем, молодое поколение всё больше уходило в виртуальный мир. Теперь ребяташки с одной улицы все чаще не играли, не встреча-

лись вживую, а сидели по домам, глядя в мониторы. Туда же переместились игры, и дружба, и первая любовь.

Лена скромно села на задний ряд и стала ждать начала. «И-почтальон-сойдет-с ума-разы-скива-янас...», – выхватило её сознание строчку из звучащей песни. «А ведь и правда, – подумала Лена, – Тогда как почта работала? Под бомбежками. Донеси письмо до окопа, возьми у солдат их письма. А если похоронка, каково её было отдавать родным? Открывает тебе дверь жена, мать, дети, а у тебя в сумке – конвертик, последняя весточка, «погиб геройски там-то» или «пропал без вести». И как будто ты виновата, как будто ты убила. Пытаешься успокоить, но ничего не получается, разворачиваешься, уходишь, а позади остаются вой и причитания. Идешь по деревне, а люди тебя боятся, гадают, к кому на этот раз, к кому... И если почтальон обходит их дом, им чуть легче: может, всё обойдется, может, жив пока...».

На сцену вышли старшеклассники, мальчик и девочка, а также учительница русского языка и литературы. Они читали стихи на военную тему и предлагали участникам выступить.

– ...В нашем районе проходит ряд мероприятий патриотической направленности, – тараторила ведущая-девочка возвышенно-ровным голосом. – Мы продолжаем проводить туристические слёты, соревнования по игровым видам спорта, смотрят строя и песни, в школах формируются спортивно-оздоровительные клубы, возрождается сдача комплекса ГТО... Мы присоединились к реализации проекта «1418 огненных верст» и разработали свой маршрут в честь Победы. Назвали его «Героями гордится край родной...». Цель данного маршрута – собрать материал о ветеранах войны для школьных музеев и провести акцию в рамках...

Мысли Лены отстранились от «акции в рамках», и она вспомнила о странном письме, которое лежало у неё в кармане блузки. Месторасположение в зале позволило ей незаметно достать его. Она вновь пробежалась глазами по строчкам. «...С поклоном и надеждой на ответ, рядовой Николай Платонов...».

– А мы хотим предоставить слово «детям войны», – продолжала ведущая. – Тяготы военного времени легли на их детские плечи, но они вынесли всё. Пожалуйста, Лидия Андреевна...

Микрофон взяла пожилая женщина, некогда доярка бывшего колхоза «Путь Ильича». Говорить ей было тяжело.

– Знаете, память у меня плохая. Но вот никогда я этого не забуду. Это было в сорок четвертом. И вот на мой день рождения мама сварила

нам несколько картошин. Детей нас у неё было четверо. А нормальной картошки тогда, конечно, не было... Ели траву, почки березовые, гнилые картошки искали в поле. Попробуй зерна возьми себе просто так – всё на фронт. И вот у нас, детей, получился праздник, были эти картошки, мама сохранила. Мы все тогда голодали, кто как скелет был, кто опухал с голоду. В нашей деревне несколько человек умерли. И вот мы эти картошки съели, а мама... выпила этот бульон, отвар этот картофельный... А потом была Победа, мы в поле тогда работали, пахали, и тут крики: «Победа! Победа!». И тут кто кричит, кто плачет, кто пляшет, кто чего!.. Прямо все как с ума сошли. А я отца своего еще месяц потом бегала на станцию встречать, думала, что вернется. Каждый день бегала. Пока похоронка не пришла...

В зале стояла гробовая тишина. Почему-то Лене пришло на ум именно это расхожее выражение, уж очень оно было сейчас уместным – «гробовая тишина». И вот эту самую тишину нарушило дурацкое хихиканье и пиликание с задних рядов: двое девятиклассников увлеченно тыкали пальцами в свои смартфоны, толкая друг дружку локтями. Все посмотрели на юнцов, но никто ничего не сказал, даже укорять их теперь, ругать, взывать к совести было стыдно. Всем было так неловко, что девочка-ведущая не сразу возобновила сценарий, пригласив на сцену еще одного «ребенка войны», Андрея Федоровича, пенсионера из Петровского. Лена с тревогой подумала, что не отключила звук в своем мобильнике, стареньком, потертом и дешевом.

– Ну что я хочу сказать, мы, конечно, жили тяжело, работали без выходных. Голодали. Я вот сваво батю дождался, – говорил Андрей Федорович. – Он пришел с войны, нам очень повезло. И вот он рассказывал, что сначала у нас и оружия-то не было много, сидят солдаты в окопе и ждут, когда убьют того, у кого винтовка. Говорил: вот убьешь немца, у него и автомат возьмешь, и зажигалку, и часы, и нож, и провизию. А нашего солдата убьют, с него и взять-то нечего. Вот за эти-то слова его и взяли куда следует, больше его никто не видел. Стукнул кто-то... Но вот что я хочу сказать: смотрю я сейчас на Украину и думаю: не добились мы фашистов тогда. Не добились...

– Спасибо, Андрей Федорович, присаживайтесь, – вежливо прервала «неформатные» слова старика ведущая и предоставила слово для отчета ученикам из числа актива школы.

– ...В этом году ученическая коллегия нашего района выступила с инициативой провести акцию «Напиши письмо прадеду», – вернул в реальность Лену голос восьмиклассника-ведущего. – В этой акции

уже поучаствовало 750 человек. Школьники узнали, что в дни войны письма были в виде треугольников, сложенных из обычных листов бумаги. Также они познакомились с настоящими письмами с фронта и написали свои письма-обращения к прадедам, которых уже нет в живых. Вот, например письмо первоклассницы Тани Сорокиной.

На сцену вышла девчушка с большими бантами. Ей дали микрофон. Она глубоко и резко вздохнула и начала читать наизусть:

– Здравствуй, мой прадедуска Саша. Пишет тебе правнучка Таня. Мне семь лет. Я учусь в первом «Б» классе. Жаль, что я с тобой не знакома. Но я много слышала о тебе от родных. Я знаю, что на войну ты ушел в молодом возрасте, был тяжело ранен в боях с фашистами, награжден орденами и медалями. Ты, прадед Саша, был солдатом стрелкового полка, участвовал в обороне Ленинграда. Потом, когда ты вернулся, ты работал главным бухгалтером в сельсовете. Мы помним тебя и гордимся. Большое спасибо, дорогой прадедуска, за то, что мы теперь живем в мирное время. Ты давно умер, и поэтому я никогда не получу от тебя ответа. Но ты будешь живой в нашей памяти. Я хочу брать с тебя пример, быть такой же смелой, не уступать перед трудностями, любить Россию и быть хорошим человеком. 9 мая я пойду на митинг, посвященный Дню Победы, и ты, дорогой прадедуска, будешь рядом со мной...

У многих в зале на глазах были слезы. Защемило сердце и у Лены. Всё же непонятно, с чего начинается такое безумие, как война, думала она. Живут-живут себе люди, работают, любят, в гости друг к другу ходят, и тут – раз и начинают друг друга убивать. Встают под разные знамена и убивают. Мало какой войне есть исчерпывающее, полное объяснение. Ну, понятно – с Великой Отечественной: русских людей решили перебить за то, что они русские, на своем языке разговаривают, свои песни поют. Понятно, что мы должны были дать отпор. А гражданская война? Это совсем непонятно. У этих флаг белый, у этих – красный, все за народ, слова у всех правильные...

– Письма с фронта. Письма на фронт. Как долог и труден был их путь, – говорила тем временем девочка-ведущая. – Сегодня я предлагаю вам принять участие в акции «Письмо ветерану». Здесь за столами лежат листки с готовыми текстами письма. Вы можете дописать свои слова, слова благодарности нашим дорогим ветеранам.

Гости подошли к нескольким столикам, сели писать. Лене вдруг захотелось ответить тому незнакомцу на его загадочное послание. Она

подсела к пишущим, достала свое письмо и ручку. Она слабо отдавала себе отчет в том, что делает, хотя этого с ней никогда не случилось – ведь по жизни её везли два коня, точнее, кобылки – скромность и рассудительность. Но тут впрягся третьим еще один конь, пока безымянный, и эта тройка прибавила скорости и удалой безоглядности. «Лена, куда несёшься ты? Дай ответ!».

«Дорогой Николай!» – написала она на листе вслед за его строчками. Она опасалась что-то написать не так, потому что зачеркивать потом было ещё боязнее. Но ручка как-то сама стала выводить слова.

«Дорогой Николай – («Почему «дорогой»? Когда он успел стать «дорогим»?) – Мы не знакомы, но мне кажется, что вполне можем таковыми стать. То, что я тебе отвечаю («Ну вот я с ним уже на «ты» почему-то»), уже несколько странно, но ведь я не делаю ничего постыдного. Как там – «Я вам пишу, чего же боле». Николай, я не против общения, но ты, я надеюсь, серьезный человек, похоже, военный, поэтому нехорошо устраивать такие прятки, нагнетать загадочность, устраивать эту странную игру с почтовым ящиком и письмом. Надеюсь, ты реальный человек, а не какой-то чей-то розыгрыш. Было бы интересно тебя увидеть. Сама не знаю, почему тебе пишу, но сейчас начинаю понимать, для чего – чтобы поздравить тебя с приближающимся Днем Победы. («А правда, вот почему я взялась за ручку, вполне нормальное объяснение!»). Здоровья тебе и удачи».

«Концовка, конечно, глупая, да вообще письмо глупое, ну и ладно, – подумала Лена. – Посмотрим, кто это решил со мной завязать общение...».

– Если вы написали ваши письма, – то складывать их в треугольники следует таким образом, – девочка в пилотке с красной звездой взяла листок и стала сгибать. Ее примеру последовали те, кто писал, и Лена – тоже. Её разобрало профессиональное любопытство, почтальон все-таки, кому как не ей следовало бы знать, как делать треугольники-письма. Но только она не отдала свое послание, а незаметно сунула его в свою сумку. Чуть покраснев от смущения, она потихоньку вновь села к зрителям.

На сцену вышли дети младших классов. Каждый из них держал в руке фотографию родственника, участника войны, который погиб или умер позже. Анечка держала фото брата прадедуски, Егора Филипповича.

– Кино идет, воюет взвод, далекий год на пленке старой... – запели дети. Их лица смешались с портретами героев войны, и казалось, что они молча поют в одном хоре со школьниками. Черно-белые лица ожили, глаза смотрели на тех, кто сидел в зале. Некоторые, и Лена тоже, – плакали.

«И всё о той весне увидел я во сне, пришел рассвет и миру улыбнулся. Что вьюга отмела, что верба расцвела. И прадед мой с войны домой вернулся», – пели дети.

Ком в горле заставил Лену на время забыть о письме. Она не помнила, как вышла с Аней на улицу. Они направились к остановке, благо – скоро должна быть маршрутка в Грибовку.

– Мам, а почему фашисты напали на нас? – спросила дочь.

– Потому что они плохие, – ответила Лена. – потому что им приказал злой и жестокий их начальник – Гитлер.

– А почему он был такой?

– Наверно, потому что его никто не любил. И вот если бы наши войска его не победили, то и нас бы с тобой тоже не было.

– А кто бы был?

– Ну, может, кто-нибудь, может, и был бы. Только бы все вокруг разговаривали бы по-немецки.

– А мы сейчас английский учим, немецкий не учим.

– Да, сейчас надо учить английский. Как по-английски сказать: «Аня любит свою маму»?

– Энн лафс хе мазе, – сказала Анечка.

«Да, по-русски это в сто раз лучше звучит, – подумала Лена, – в тысячу раз...».

Навстречу шли парень с девушкой – не очень трезвые.

– Давай еще полторашку пива возьмем, – канючил он.

– Не хочу уж, не лезет в меня, – жаловалась ему подруга.

– А фиг ли делать-то, – увлекал он её в мутную, несмотря на солнечный день, даль.

Они скрылись за углом, покачиваясь.

«Поколение победителей...» – вспомнились ей слова с торжественного мероприятия. «А ведь он её, видно, по-своему любит. И она его тоже. Они еще молодые и еще красивые...». И так ей стало жалко этих неприкаянных парня и девушку, жалко погибших и покалеченных в той войне, жалко голодающих 70 лет назад детей, жалко стервозу Вениаминовну и жалко себя. Но тут же внутренне себя упрекнула: «Тебе-то жаловаться грех... Сыта, дети растут. Вот ведь какая я неблагодарная...».

Добравшись домой, Лена, пропустила Аню вперед, оглянувшись, бросила треугольничек в свой почтовый ящик.

«Бред какой-то», – подумала она и вошла в дом.

Мисска

Прошло три дня, и Лена стала забывать, что оставила свое треугольное письмо в ящике. Да и голова была забита хлопотами по дому, стирками, стряпней, огородом. Да еще подготовкой к этому жуткому конкурсу – то ли красоты, то ли знаний-умений.

– Эх ты, подруга, попала, – сочувственно усмехалась Наташа. – А что? Может, в городе мужика нормального присмотришь. Как пройдешься там этак в дефиле, так на тебя сразу все засмотрятся. Главное, плечи расправь там и не горбись.

– Да куда мне, – отвечала Лена, – кому я нужна – деревенская, с двумя детьми, да и не надо мне ничего, не хочу я на этот конкурс. Слава богу, там вроде в нижнем белье ходить уже не надо, правила немного поменяли, а то я там вообще сквозь землю провалилась бы. Но все равно не хочу. Вот смотри, что тут пишут в условиях: оценка выступлений конкурсанток на всех этапах ведется на основе следующих критериев: профессиональное мастерство, культура речи, эрудиция (ну какая у меня эрудиция?!), общительность (да я своей тени боюсь!), обаяние (очень смешно), внешние данные (это, наверно, размер груди, тоже ничего выдающегося), творческие способности и таланты (ну стишок могу рассказать), пластика (надо уметь ходить по подиуму, как модели, заводя ногу за ногу, прямо и с лицом, будто ты ищешь туалет, но боишься спросить, где он находится, но вида не подаешь, показываешь, какая ты уверенная в себе и независимая), музыкальность (привет тому медведю, который наступил мне на ухо), степень оригинальности (вообще непонятно, чего такое, может, юбку надеть с хвостом) и, наконец, – костюм.

– Давно, Леноч, не слышала я тебя такой тирады, ты вроде как побойчей стала, так что у тебя есть шансы! – с довольным видом подбодрила её Наташа.

– Какие там шансы! Надо сделать красивое платье, или заказать, чтобы не опозориться, а у меня денег нет.

– Не дрейфь, сошьем тебе что-нибудь, в город съездим, ткань купим, такой нарядище тебе скроим, все в осадок выпадут, а Вениаминовна твоя вообще от зависти лопнет. Чего боишься? Ты молодая, себя показывать надо.

– Нет, ты смотри, чего дальше написано: обязательные конкурсные задания при проведении регионального этапа: первое – «Визитная карточка» – участницы конкурса в течение двух минут представляют краткую информацию о себе, своей работе, своем крае и второе: «Реклама почтовой услуги» – реклама одной из услуг, предоставляемой предприятием «Почта России».

– Ну и чего? Вот всё и расскажи: я – такая-то, живу в Грибовке, люблю свою работу, начальницу, получаю хрен да маленько, если бы не огород, то вообще зубы на полку положила бы, ноги протянула бы, таскаюсь с сумкой, выполняю тупые поручения, продаю моющие средства, хоть какой-то заработок...

– Наташа, перестань, и без того тошно.

– Извини. Знаешь, ты подходи к этому так: главное – участие. Никто от тебя волшебства не ждет. Какое в Грибовке на фиг волшебство? Вся магия – это как Петрович с утра нажираться успеваешь, а на следующий день работает себе на тракторе как ни в чем не бывало, вот одно волшебство только и есть. Так вот – выйди, расскажи о себе, а с творческим конкурсом – ну стишок расскажи в самом деле, раз поёшь ты невесть как.

– А знаешь, я ведь уже сочинила, ты послушай, может, подойдет. Ну не совсем сама, помог один поэт из города, я мысли наговорила, а он – всё в рифму сделал.

Лена достала тетрадку и, смущаясь, начала читать:

*«Я – почтальон. Я несу вам посланье.
Ждёт меня каждый, наверно, житель.
В сумке – надежды, радость, отчаянье...
Вот, – получите и распишитесь.
Вдруг и мои прочитаешь ты строчки,
Но междустрочье важнее, чем фразы,
Я притаилась в извилистом почерке,
В нем ты меня распознаешь не сразу.
Адрес – Земля. Индекс четкий, межзвездный.
В бездне скучает солнечный ветер...
Сколько же лет световых... Лучшее поздно,
Чем никогда не узнать, что в конверте.
Я – почтальон. Мои крылья поникли.
Но вопреки комариному зуду
Снова я в путь отправляюсь неблизкий.
Люди, дождитесь меня. Скоро буду».*

– Ну ты даешь, да ты Лермонтов в юбке! Ну и молодец! – Наташа явно не ожидала такого. – Ну, смотри: платье мы тебе сварганим, стих прочитаешь, о себе расскажешь, ну, про отсутствие мужа и двух детей можно опустить. Расскажи про красоту, которую ты видишь, когда носишь почту, рассветы, закаты, там, лес, всё такое. Попросим кого-нибудь фотки сделать, и на экран их выведем, вот и всё. Это для нас вся эта природа привычная, а они в городе скучают по ней, для них это – романтика. Скажешь, не потому что вам машину не выделяют, а нравится ходить пешком, вот.

– А реклама услуги? – просила Наташа. – Перевод денег? Получение бандероли? Скучно как-то...

– А никто не просит тебя рекламировать настоящие услуги, их можно придумать...

– А что тут придумаешь, всё давно придумано...

– Вот именно – давно придумано, – медленно проговорила сообразительная Наташа. – А что если эта почтовая услуга и была давно придумана?

Лена смотрела на подругу распахнув глаза.

– Слушая, меня, Ленюк, внимательно. Знаешь, у Федорыча Хромого в Петровском голубятня есть? – Лена кивнула. – Так вот, голуби у него страх какие умные. Надо у него спросить, может ли его голубь взять письмо и улететь к тому, для кого оно написано? Ну хотя бы понарошку, просто взять письмо и улететь?

– И?

– Вот и будет тебе реклама почтовой связи! Ретро! Чё сейчас: настрочат смску, и отправят «Ты где?», «Целую», «Ок» или один смайлик, рожицу круглую, или улыбается, или, наоборот, не улыбается – всё на этом. Или электронная почта, мобильные почтовые приблуды. Чик – и отправлено. А тут, понимаешь, длинное бумажное письмо, дышит духами и туманами, как сказал какой-то поэт...

– Блок, – подсказала Лена, которая начала понимать идею.

– Вот, типа Блок. И вот там, в письме, признания, чувства, слова красивые, то-сё, хренотень всякая возвышенная, не то что здесь – «Манька, зараза, дай пожрать», и это письмо несет голубь, белая птица, несет в клюве, он летит высоко в облаках, смотрит, где тот человек... И вот наконец благая весть спускается с небес, сердца соединяются, он ей отвечает. Голубь летит обратно, и в конце концов живут они долго и счастливо, связанные священными узами законного брака, умирают в один день (прикинь, счастье какое), тебя назначают начальником отде-

ления, повышают тебе зарплату, а Вениаминовна благополучно выходит на пенсию или неблагополучно, споткнувшись о своего жирного кота...

И тут они расхохотались легким смехом.

– Нет, я серьезно, я поговорю с Федорычем.

Лена была безмерно благодарна подруге. В перечне немногих пунктов, которые делали её жизнь счастливее, Наташа занимала не последнее место. Попив чаю с прошлогодним малиновым вареньем, они прошлись по селу (благо – вечер был теплый и безветренный), в подробностях обсуждая будущий конкурс. Боязнь, которая недавно томительно поедала Лену, сменилась почти озорством. «Вот все будут говорить: смотрите, мисска сумку волочет, мисска письма нам несет!.. Ну и ладно!».

Охохонюшка

Подходя к своему дому, Лена заметила, что кто-то стоит у почтового ящика. Она присмотрелась: ну да, Варвара Кузякина, которую звали в селе Варька Охохонюшка. Сложно было определить её возраст – на вид от сорока пяти до шестидесяти, в зависимости от наряда и от освещения: она словно старела по солнцу – чем ближе к вечеру, тем больше она старушилась. Но прежде всего она была примечательна тем, что считалась полоумной. Но и это полоумие было каким-то зыбким. Удивительно, но с представителями власти, в магазине и в прочих более-менее «официальных» ситуациях она могла казаться совершенно адекватным, рассудительным человеком, а в другой обстановке она часто начинала «чудить». Многие помнили, как такая ненормальность началась: рядом с Варькой двадцать три года назад ударила молния; несколько минут она была без сознания, а когда пришла в себя, тут, как говорили, у неё «кукушка и съехала». Она могла зимой ходить по селу одетая по-летнему, и казалось, что мороз её абсолютно не касался, и даже пар изо рта не шел. Она выкрикивала странные слова, словно обращенные ко всем и ни к кому конкретно.

Варьку побаивались за её кликушество. Как-то поздней весной она стала шататься по улицам и приговаривать: «Пить хочу, пить хочу! О-хохонюшки!», хотя воды в колонках и колодцах было достаточно. С этими словами она ходила с неделю. И вот с середины июня в Грибовку пришла жуткая жара и засуха. Растительность на полях и



огородах пожухла, вода в двух колодцах просто исчезла, а насосная подстанция вышла из строя. Тогда грибовцы очень страдали от безводья. Дошло до того, что бабушки ходили на кладбище и, воткнув в землю кол, просили у неба дождя. Неизвестно, кто их на это надоумил. С таким же успехом они могли воззвать и к местной администрации, чтобы наладили воду. Впрочем, дождь пошёл на следующий день, а водопровод заработал только через полтора месяца.

Но это еще безобидный случай. Как-то Варька начала посреди дороги складывать дрова в виде домика. Сложила и села напротив, раскачивается. «Варвара, ты чего тут сидишь с дровами?» – спрашивали её. «Жду, когда загорится», – отвечает. Через два дня на окраине вспыхнул дом, мужик покурил, и от сигареты чуть семья не погибла, вовремя проснулись. Но бывало и хуже. Однажды Варька взяла кружку с водой и гуляла по селу, время от времени отпивая и, полоская рот, эту воду выплевывала. Все понимали, что это не к добру, но Варька ничего не объясняла, только мотала головой, трясла распущенными волосами и, отбулькав горлом, говорила: «Охохонюшки!». Спустя неделю в местном пруду утонул восьмилетний мальчик. Убитые горем родители пошли было к Варьке, но она заперлась в доме и никому не

открывала. После заявления в полицию к Варьке наведались следователи, но «накопать» против неё ничего не могли. «А что, товарищи, полоскать горло водой, пребывая в общественном месте, – это противоправное деяние?» – спрашивала представителей органов Варька, являя чуда нормальности. Довод был железным, и они не стали назначать экспертизу на вменяемость. Им было ясно: на одинокую женщину в селе наговаривали. Ну, подумаешь, травы всякие на столе разложены, ну, подумаешь, не работает нигде, а где сейчас работу найдешь?.. С тех пор Варьку на улицах почти не видели, неизвестно, чем она занималась и что ела. И вообще ходили слухи, что, если Варька заглянет к кому-то в окно, – жди покойника. Поэтому даже увидеть Охохонюшку на улице – уже было плохим знаком.

И вот – этот «плохой знак» крутился около почтового ящика Лены. Издалека она увидела, что Охохонюшка беспардонно запустила руку внутрь – залезть в него было не проблемой – и вытащила треугольное письмецо.

Лена хотела было броситься и догнать Варьку, но страх перед этой не от мира сего особой остановил её. «Зачем, зачем я поддалась на этот розыгрыш? Вот кто решился поглумиться надо мной! Но зачем ей это нужно? Еще растрезвонит по селу, что я пишу письма неизвестному солдату. Хотя ничего плохого я не написала...».

Мысли путались, привычное чувство неудобства, стыда перед собой наполнило Лену. Казалось, что Варька застучала её за чем-то, что должно быть скрыто от любых посторонних глаз. Она видела, как Охохонюшка, приплясывая, направилась к своему дому. «Ну вот, давно большая выросла, а в сказки веришь...» – досадовала на себя Лена.

Около часа она не знала, что делать. Потом решила и пошла прямо домой к Варьке. Дверь была не заперта. Пахло каким-то отваром, сырым деревом и особым духом. Ведь у каждого человека – свой запах, который впитывается во все внутренности дома, особенно если хозяин обитает в своем жилище давно.

Охохонюшка сидела на кровати скрестив ноги по-турецки и разматывала клубок черных шерстяных ниток. Из одного клубка она делала другой, и смысл этого занятия терялся в её комнате. На столе стояла двухлитровая банка молока, а рядом – сидящая фигурка из хлебного мякиша. В комнате – вполне чисто и прибрано, никак не скажешь, что у хозяйки, как выражались местные, «мозги хомутлякались».

– Здравствуйте, Варвара... – Лена запнулась. – Алексеевна, если не ошибаюсь...

– Христововна, Варвара Христововна, все мы люди Божии, – Охохонюшкин голос звучал словно из старого радио, неестественно, как бы «с песочком».

– Можно я буду называть вас тетя Варвара?

Охохонюшка кивнула.

– Тетя Варвара, я к вам по такому делу. Уж извините, но я видела, что вы сегодня взяли из моего ящика письмо. Я хотела спросить, зачем оно вам? И вообще, зачем вы меня разыграли. Да, у меня нет мужа, это... как-то непонятно. В общем, я прошу отдать мне это письмо и никому не говорить об этом. Пусть это будет такой шуткой...

Варька молчала, продолжая увеличивать один клубок и уменьшать другой. Было слышно, как в комнате жужжат мухи, а за окном лают собаки. Лена ждала ответа.

– Какие уж тут шутки, – наконец заговорила Варька, – Человек давно не здесь, а успокоиться всё не может. А тебе – шутки. Шутница. Охохонюшки!..

Лена надеялась на более внятные объяснения.

– Тетя Варвара, я не понимаю, зачем вы написали мне это письмо. Отдайте мне его, пожалуйста.

– Да не могу я, вот настырная! Я обещала передать ему твой ответ. Ты ж не передашь, ты живая, здешняя, а я уж найду путь.

– Тетя Варвара, пожалейте меня, не издевайтесь. Ну посмеялись – и будет. Я же вижу, что вы не такая, как о вас говорят.

– Охохонюшки!

Варька слезла с кровати, прошлась по комнате, потом остановилась и приложила к своим глазам два клубка. Лицо получилось жуткое, почти череп с глазницами.

– Лена, я – тебя вижу. Я тебя насквозь вижу.

Это «насквозь», с ударением на первый слог, словно пронзило Лену, в животе появился холодок.

– И его я вижу, – Варька повернулась к хлебному человечку. – Но он – сам написать не может, ему надо помочь.

Варька отложила клубки в сторону и налила молока в блюдце, поставив её перед человечкообразным мякишем, словно перед котенком.

– Он и кушать не может, ему надо помочь. Он ходить не может, ему надо помочь. Он говорить не может, ему надо помочь. И я ему помогу. И ты ему поможешь.

«Что я тут делаю, зачем меня сюда занесло?! – подумала Лена, – Она сумасшедшая. А я – дура, круглая дура».

– Ну, может, и дура. Но ему – приглянулась, – сказала Охохонюшка. И тут Лене стало страшно. Вот уж и правда – «нАсквозь»... Хлебный человечек безглазо смотрел на неё. «О Господи! Ну зачем я сюда пришла?!».

– А пришла ты, чтобы я тебе сказала: ты его встретишь, и я тебе в этом – помогу.

– Я пойду, наверное... Извините, что побеспокоила. Я пойду.

– Ну какие гости так сразу уходят, давай хоть чайку попей, – эти слова прозвучали так обычно, так «нормально», не радиоголосом, а таким вполне обыденным и даже доброжелательным, что Лена не поверила своим ушам. Она села за стол к хлебному человечку.

– Ну вот, угощайся. – Варька поставила две кружки с чаем – ей и себе.

Лена не знала, что и думать. Какая Охохонюшка настоящая: когда нормально разговаривает или когда придуривается? А может, она придуривается, когда говорит нормально? Какая Варька на самом деле? Недаром про неё всякое болтают.

– Ты пей, дочка, чаек-то, вкусный, с травками, – теперь Варькин голос не содержал ни намека на «тараканов» в её голове.

Чай оказался и правда вкусный, с таким причудливым травяным букетом, что разгадать состав его было невозможно. Именно этот чай успокоил Лену почти до степени равнодушия. Ей уже казалось, что ничего странного и страшного не происходит. Впрочем, со стороны всё смотрелось, мягко говоря, нестандартно: Лена и Охохонюшка пили травяной чай, а хлебный человечек словно участвовал в этом, сидя с ними за столом со своим молоком в блюдце. Варька, будто делала это каждый день, ловким движением руки смочила ему рот.

– А что это вы такое делаете? – спросила Лена.

– Коленку кормлю, – сказала серьезно Варька.

«Да, – подумала Лена. – Как там уж у Пушкина, который за меня, как говорит Вениаминовна, почту разносит: не дай мне Бог сойти с ума, нет, легче посох и сума. Сума у меня уже есть, посох только найти осталось».

– Вот и поговорили, – подытожила Варька. – И будь с ним там как-то поласковой.

«Там» – это где, интересно знать?» – подумала Лена.

Она засобиравалась домой. Ей почудилось, что хлебная фигурка смотрит прямо на неё.

– Тетя Варвара, ладно, пусть письмо будет у вас, только никому не говорите про него, и что я была у вас – тоже не говорите. До свидания.

– Ну, ступай, доброй ночи. Охохонюшки!..

Лена обулась и очутилась на воздухе. Через некоторое время она сидела дома и делала вид, что читает книгу. Ни дети, ни тетя Поля ничего такого в её настроении не заметили.

Спустя несколько часов Лена ушла в сон.

По ту сторону Грязнушки

Как всегда, момент начала сна Лена не заметила, поэтому иная реальность окружила ее стремительно и естественно. Она шла по берегу речки и влажная трава щекотала её босые ноги. Туманные сумерки таили в себе неизвестность. «Речка вроде наша, Грязнушка, но почему такая широкая?». Лена видит лодку, старую-престарую. «Ей поди не один десяток лет, и садиться в нее опасно, утонешь, а я плавать не умею».

– Садись-садись, – говорит ей Охохонюшка (надо же, взялась откуда-то!), тебе – на тот берег...

Лена послушно взобралась в лодку.

– Просила письмо – вот тебе письмо, мне, что ли, больше всех надо? Сама и передашь, – проворчала Варька и сунула ей бумажный треугольничек. Лена узнала свой почерк.

Лодка, покачиваясь, поплыла в гущу всхлипывающего тумана. Ей показалось, что из-под воды ей кто-то протянул руку. «Наверно, это тот мальчик-утопленник», – спокойно подумала Лена.

Её несло в неизвестном направлении, всё дальше от берега, лодку то подхватывало течением, то начинало кружить, но туман был такой густой, что никаких берегов видно не было. «Ничего, река без берегов не бывает, куда-нибудь да пристану», – подумала Лена. Впрочем, вёсел в лодке не оказалось и оставалось только ждать. «Куда ты денешься с подводной лодки...» – откуда-то шепнул ей голос Вениаминовны. Лена продолжала плыть, а земли все не было. «А мне же надо отдать письмо...» – вспомнила она. Достала из сумки (ну как же без нее?) небольшую пластиковую бутылку из-под минеральной воды, засунула в нее бумажный треугольник, завинтила крышкой и бросила в воду.

Лена почему-то решила, что это самый надежный способ доставки письма до адресата, делают же так моряки, и получается.

Письмо в бутылке уплыло своей дорогой.

Неизвестно, сколько Лена находилась между берегами, между небом и землей, во власти лодки. Было даже непонятно, тепло или холодно. И вот лодка уткнулась в берег. Вокруг вроде как рассвело, зеленая трава блистала росой, похоже, настало утро. Листва берез слегка шелестела на ветру. Значит, Лена плыла всю ночь.

На траве сидел молодой человек в военной форме. Галифе были подвернуты, около босых в мозолях ног стояли кирзовые сапоги, рядом с которыми валялись портянки. Курносое добродушное лицо. Несмотря на юный возраст, испепеленные сединой волосы. Не ускользнул от Лены и цвет глаз – серый с зеленоватым оттенком.

Когда лодку прибило к берегу, солдат встал, надел пилотку с красной звездой, подал Лене руку.

– Разрешите представиться: рядовой Николай Платонов, Брянский фронт. Уроженец села Петровское.

– Я догадалась, – сказала Лена, уже ничему не удивляясь. – Елена Касатонова.

– Лена, сегодня мы можем познакомиться поближе. Это я тебе написал письмо. Ты не обиделась?

– Это же Варвара написала, чтобы разыграть меня...

– Так это я попросил написать, я ей его наговорил, а она записала.

Я же не могу у вас там письма писать, ты же понимаешь.

– А мы сейчас где? – задала Лена прямой вопрос.

– Мы... как бы это выразиться... мы на нейтральной полосе. Мы здесь ненадолго. И если ты не против, прошу считать нашу встречу свиданием.

– Постой, Николай, но ты же умер...

– Убили, – поправил ее солдат.

– Извини.

– Жизнь слишком коротка, особенно была моя – раз и всё. И поэтому, когда мы здесь окажемся – не так важно, чуть раньше, чуть позже. Важнее, что у тебя было и с чем ты сюда прибыл.

– Я вот – на лодке.

– Да, ты пока гость, ты – на минуточку, тебе еще рано.

– Ну спасибо, утешил, – попыталась пошутить Лена. – А можно задать тебе такой... женский вопрос?

– Задавай.



– Вот я, мне кажется, тебе понравилась, ты мне написал, хочешь дружить... А тебя не смущает, что тебе – восемнадцать, а мне скоро тридцатник, что у меня двое детей, что у меня муж... был.

Солдат сел на траву, Лена расположилась рядом. Он улыбнулся и потеревил седые вихры.

– Да это был женский вопрос... Значит, то, что я неживой, тело лежит где-то под Курском, деревню не помню, это тебя не смущает. А вот что ты старше меня на десяток лет – это страх. Ну, бабы...

«Вот и правда, какая дура!» – подумала Лена.

– Но почему я?

– Почему, почему... Просто понравилась. Может мне красивая женщина понравиться?...

Лене эти слова пришлось по душе.

– Ну, представь: между боями сидят солдаты, письма домой пишут, к ним приходит полевая почта, весточки из дома получают. А мне никто не пишет, и мне черкнуть пару строк некому. А завтра, скорее всего, пуля прилетит или снарядом тебя на части порвет, и никто про тебя не узнает, не вспомнит. А тут – ты. А то, что 74 года прошло с моей гибели – ну и что. Здесь это неважно. Здесь нет ни времени, ни возраста.

Лена решила достать из почтовой сумки свое зеркальце – она всегда его носила с собой. И точно: в отражении ей было около сем-

надцати. Похоже, свет-зеркальце решило ей «всю правду доложить». Ну и пусть эта правда и не правда вовсе, а все равно приятно.

– Расскажи, как там было?

– А было так: началась война, и в июле нас собрали на призывном пункте. Раздали винтовки, сухпайки. Две недели учили стрелять, метать гранаты, атаковать, штыком колоть, правильно ложиться при взрыве. Немного поработали с артиллерийским орудием, потренировались из пушки стрелять. А что, никто ничего не умел, все же были мужики из деревень, танков не видели, если только трактора. Мало кто думал, что война так надолго, так всерьез. Помню первый бой, мы готовились, рыли окопы. Сидим, ждем. Сначала налетели и начали нас хреначить с воздуха, разбомбили наши позиции. А что – винтовкой самолет не сшибешь... Орем, мечемся, вой, свист, раненые пошли, убитые, части тел разбросаны. Потом танки пошли, с танков – пулеметы, вообще высунуться невозможно. Они нас просто продуманно убивали, как загнанных зверьков. Пару танков подбить удалось, но, в основном, они просто прошлись сквозь нас, смели. И только потом пехота ихняя пошла, когда уж и сопротивляться было почти некому. Стреляли, полуживые от страха, кто – бежать, кто посмелее – оставался и умирал. Потом объяснялись со своими, почему проявили трусость, оставили рубежи. А что толку нас ругать? Стоим, жалкие, поседевшие, грязные... Решили включить нас в новое, свежее подразделение... Я его прозвал «собачьим»: там были натасканные на танки собаки. Их готовили по-особому: кормили только под танками с работающими двигателями. А потом – взрывчатку на спину – и вперед. И псины – молнией, немцы не успевали их отстрелить, из танка их не видно – они же низко к земле бегут. И вот в том бою три танка собачки так остановили... А потом нас командир взвода в атаку повел. Но мы не добежали до немцев. Пока кричали: «Ура!», «За Родину!», «За Сталина!» – нас покосили из пулеметов. И меня тоже. И ведь ни одного фашиста у меня не получилось убить. Тут встречаюсь с некоторыми из них. Спрашиваю, что ж вы, падлы, в Россию-то полезли? Они, понятно, нихтферштейн. А что с них, гадов, взять, у них был приказ... Думали, по-быстрому, пока тепло. Вот хрен вам! Потом наши воевать научились, вламывали им мама не горюй, и самолеты у нас появились хорошие, и танки, и атаковать стали с умом, а не с винтовками на пулеметы, и в «котлах» их варить. Но всё это потом – уже без меня.

– А как это происходит там, ну когда...

– Умираешь? Ну это как рождаешься, только наоборот. Мало что

помнишь. И у каждого – по-разному. А еще – тут не принято об этом рассказывать. Каждому свое место, каждому свое время. Только как это определяется, как людей ставят в эту очередь, кого раньше, кого позже и за что... Этого я до сих пор не могу понять. Может, в этом и нет никакого порядка, а все происходит само собой. Тут я ничего не могу сказать.

Они помолчали. Листва шелестела, волны травы колыхались.

Николай откуда-то вытащил приплывшую, видимо, еще до лодки, бутылку с письмом. Извлек с помощью ножа треугольник, стал читать.

– Спасибо, что написала. Мне теперь будет лучше здесь. И... извини, что к твоему приезду портянки простирнуть не успел, неудобно как-то.

– Да ничего, – улыбнулась Лена.

– Я буду рад, если иногда будешь писать мне письма.

– Хорошо, – согласилась Лена, – буду.

– Это – тебе, – сказал Николай и протянул ей букет полевых ромашек.

– Спасибо.

Лена была очень тронута. Она ощутила, что пора возвращаться, иначе она останется здесь, а дома ее ждут мама и дети...

– До встречи, – сказал он.

– До востребования, – ответила Лена, робко обняла солдата и поцеловала. В его дыхании был табак и еще что-то – наверное, порох. Вмиг небо стало ярче в несколько раз, потом раскололось на две половины: Лена проснулась.

На связи

«Привет, Николай.

С тех пор, как мы увиделись с тобой во сне, прошло три недели. Только теперь я решила вновь написать тебе. У нас прошло 9 Мая, День Победы, было очень торжественно. В Петровском, как и везде, была акция «Бессмертный полк», люди несли фотографии своих погибших родственников, этих фотографий было много, как и людей. Меня это потрясло. Жаль, что у меня нет твоей фотографии, наверно, её вообще нет. Но я бы прошла в колонне с ней. Возлагали цветы к обелиску. Представляешь, я нашла твоё имя в списке погибших! Ты, оказывается, Иванович...

А еще я приняла участие в региональном конкурсе «Мисс Почта-2015». Жутко волновалась, готовилась, — и заняла второе место. Все удивились, когда я выпустила голубя, и он, облетев весь зал, принес в клюве письмо и отдал его членам жюри. Если бы ты знал, как он привыкал ко мне, как я училась его запускать! Но Федорыч — мужик терпеливый, только такой терпеливый может столько возиться с голубями... Он говорил: у тебя получится, у тебя сердце доброе, голубь тебя послушается. Я даже имя ему придумала — Кеша. Белый с серыми перьями. Он привык ко мне и иногда прилетает, я его кормлю с руки. Потом он садится на конек моего дома, вертит головой по сторонам, курлычет, потом улетает к хозяину. Ну совсем ручной. В общем, хорошо, что заняла второе место, а то отправили бы меня на центральный конкурс в Москву, я бы тогда совсем со страха померла. Правда, Вениаминовна ворчит: что, говорит, не первое. Но сама вроде довольна, нашему отделению все равно плюс.

А еще она заметно подобрела, прямо другой человек, не грызёт меня больше. А всё потому что у неё наметился роман, мужик был из города проездом, зашел к нам и слово за слово, стали общаться, переписываются в интернете. Вот почему она раньше злая была, потому что у неё этого «велосипеда» не было, ну это цитата такая почтальона Печкина из известного мультлика. А еще за призовое место меня премировали, денежку дали, поэтому свое бедственное положение я немного поправила.

Анечка у меня закончила второй класс, Женька учит алфавит и уже сам составляет слова. На работе обещали дать отпуск, потому что в отделение взяли еще одного человека, она меня подменит.

Мне, конечно, страшно посылать письмо туда, где ты находишься. Не дай Бог, о нём узнает кто-то, кроме Охохонюшки, скажут: Ленке в психушку пора. Но не всегда наши вроде серьезные дела имеют какой-то глубокий смысл, а иногда, казалось бы, глупости по-настоящему ценны. Сегодня ты почтальон, и вроде вся жизнь крутится вокруг этого, а завтра все меняется полностью. И я этого не понимала до тех пор, пока тебя не встретила, пусть даже так необыкновенно.

Не скучай, я та, кто думает о тебе.
Обнимаю, Лена»

Она сложила письмо треугольником и, оглянувшись, бросила его в свой почтовый ящик. Она почему-то знала, что Охохонюшка его заберёт. А если не заберёт — не беда: придёт новый сон, и они с рядовым Платоновым вновь свидятся по ту сторону Грязнушки.

Хорошо, что сегодня не на работу. Она пошла на окраину села — туда, где белыми облаками на давно не паханном поле расцвели ромашки. Идти было легко, плечо не отягощала привычная сумка. Дышалось тоже легко: с утра прошел короткий теплый ливень.

Лена долго сидела в поле, вглядываясь в даль, иногда проводя ладонью по ромашкам, будто поглаживая детей. Она не хотела их срывать. Для неё они были живые.





Андрей Цухлов

Дурак на поминках

Бродит неприкаянный, бомжеватый, грязный.
 Страшная улыбочка, мутные глаза.
 То поет-качается, то в себе увязнет,
 и сидит недвижимо он по три часа.

Что он пьет – понятно всем, что он ест – неведомо.
 Надо ль безобидного ставить на учет?!
 По селу болтается – бог подаст, наверное, –
 Санька Механический, местный дурачок.

Он в пальто нелепом и зимой и летом.
 Любит он, чтоб людно было, любит, чтоб народ.
 «Дай ко-ко-копеечку, беленьку монету!»
 А потом – гогочет, разевает рот.

Смерть идет хозяйкою, смотрит в окна пристально,
 размышляет-думает: взять кого б еще?
 Он же – рад-радешенек, кланяется низко ей,
 Санька Механический, местный дурачок.

Здесь поминки частые – девять дней, да сорок дней,
 то на этой улице, то потом – на той.
 Кушанье привычное: мед, кутья, тарелка щей,
 пироги, блины, компот... С миром упокой.

Здесь накормят досыта и нальют не брезгуя.
 Вкусно да наваристо, не предъявят счет.
 Так вот он и кормится урожаем с лезвия
 Санька Механический, местный дурачок...



Евгений Сафронов

Коммунальный юродивый рассказ



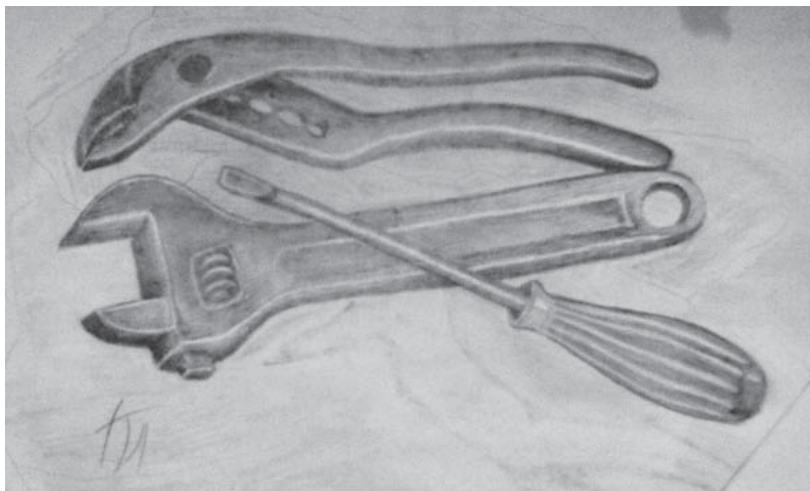
По серой бетонной стене пробежала шустрая человеческая тень. За ней проехала маленькая фигурка автомобиля – крышей вниз, колесами вверх. Юрка Колокольцев улыбнулся и прислонился полукругом позвоночника к холодному чугуну трубы, по которой вот уже лет двадцать уходили в небытие жизненные отходы обитателей девятиэтажки.

Он открыл для себя подвальные «кинофильмы» еще десятилетним мальчишкой. Как-то вместе с другом Лешкой, учившимся в параллельном коррекционном классе, они в очередной раз забрались в подвал: под ступенями подъездного крыльца у них располагался штаб – тайная комната, о которой знали только посвященные, то есть он да Лешка. С помощью железного совка, ножика и дырявого ведра они вычистили штаб от бетонной пыли и мусора, затащили туда картонки и старое одеяло, сворованное из родительской кладовки. И потом почти два дня не вылезали оттуда, наслаждаясь всесилием дворовых богов: сквозь щели ступеней они видели всё, а об их подглядывании никто не догадывался.

У новоявленных шпионов дух захватывало от потрясающего ракурса, открывавшего совершенно по-новому играющих «в резиночки» девчонок. Восьмилетние пигалицы прыгали у подъездной лавочки, пытаясь не задеть белую резинку. А Юрка с Лешкой без зазрения совести пялились снизу на мелькавшие из-под юбок и платьев разноцветные трусики.

Правда, это занятие им быстро осточертело, и вот как-то, вытащив задеревеневшее тело из штаба, Юрка мельком взглянул на серую стену подвала и замер. Его друг, который пытался просунуться вслед за ним, недовольно заворчал. Колокольцев инстинктивно отодвинулся, и сразу же показалась непричесанная голова его сотоварища. Лешка сначала не заметил движущихся фигур, но застывший взгляд Юрки был так красноречив, что и он узрел невиданное.

С тех пор они часто сидели у стены и любовались игрой света и теней. Мальчишек совсем не интересовало, как и почему получалось так, что сквозь зарешеченные подвальные оконца реальность пробива-



лась в столь причудливом, перевернутом виде. Их захватывал сам процесс: вот идут соседки с колясками; их глухие голоса подвал превращает в таинственные звуки на непонятном языке. Тени, перевернутые головами вниз, скользят по подвальному «экрану» всего пару секунд, а затем их сменяют силуэты машин, верхушки колыхающихся деревьев и быстрые фигурки летящих птиц.

Маленьким зрителям подвальные «мультики» не надоедали никогда. Они даже оборудовали свой зрительный зал мягкими картонками, обнаруженными на местной свалке.

– Да, хорошие были времена, – бормочет Колокольцев и старается вспомнить овальное бледное лицо Лешки из коррекционного класса. Что с ним случилось за прошедшие десятилетия? Куда он делся после того, как семья Юрки переехала на другой берег Волги?

Первое, что Колокольцев сделал в подвале своей девятиэтажки, где он жил уже лет десять, – нашел-таки подвальный «кинозал». Вообще-то, Юрка полагал, что таинственный театр теней можно увидеть в каждом многоквартирном доме, надо просто хорошо поискать место «трансляции».

Конечно, тот, детский, их кинозал был намного лучше. По крайней мере, так всегда казалось Колокольцеву.

– В детстве всё лучше – и деревья больше, и конфеты слаще, – улыбаясь, говорит сам себе Юрка и прислушивается к шепоту элеваторного узла. В его девятиэтажке – три подъезда и под каждым – свой элеваторный узел. Три бьющихся по-разному многоквартирных сердца, от которых куда-то ввысь устремляются трубы-сосуды. А затем – по обратке – остывшая кровь-вода снова возвращается в элеваторный.

Юрка давно привык говорить сам с собой: подвал располагает к размышлениям вслух.

– Нижняя ХВС немного подкапывает, – бормочет он и нежно гладит трубу, по которой в каждую квартиру третьего подъезда бежит поток холодной питьевой воды. Он мысленно проходит весь ее нелегкий путь: вот на водозаборе – оголовке, торчащем далеко от берега, всасывается желтоватая взвесь волжской воды. Затем, преодолев многочисленные фильтры водоканала, всю эту алхимию песочно-хлорной очистки, поток пересиливает сотни километров и изгибов недавно замененных или насквозь проржавленных труб.

– И вот она приближается к дому, идет-идет, бежит-звенит – и сюда. К нам. Дальше-дальше, наверх-наверх, – шепчет Юрка и снова гладит влажный водоносный сосуд третьего подъезда.

В доме отродясь не водилось старшего. Молодым жильцам всегда было некогда: они ходили в детсады, школы и на работу. А пожилые – смотрели телевизор, получали мизерную пенсию и ругали окружающую жисть. Про Колокольцева знали многие, но всё как-то мельком да едва-едва.

– Чегой-то наш дурачок опять полез в подвал! – бывало, говорила Роза Ибрагимовна своей соседке Свете со второго подъезда.

– А пусть его! – махала рукой сорокалетняя Света, кассирша «Магнита» и мать двоих сыновей-троечников. – Вреда-то нет.

– Вреда нет! – соглашалась Ибрагимовна, прихлебывая соседский чай. – Да только и пользы не видно. Кто знает, чего он там копошится дни напролет? Может, в ЖЭУ пожаловаться?

– Да их живую никто и не видал – этих, из управляющей компании которые, – беспечно отзывалась мать двоих детей, подправляя черным карандашом тонкие, вскинутые кверху полумесяцы бровей. – А Колокольчик наш хоть хулиганов в подвал не пускает: они его побаиваются.

– Боятся, да. Потому что он ходит и бормочет себе что-то под нос. Я и сама-то иной раз пугаюсь из-за него. Из ниоткуда нарисуетя – как тень на стене, ей-богу. И ходит ведь не слышно, будто кошка.

– Ага, – Света широко зеваает: ей наскучило говорить про незаметного дурачка Колокольцева. – Тебе чего из магазина вечером принести?

– Хлеба да молока, – отвечает Ибрагимовна. – До пенсии надо еще дотянуть – тут уж не до печений и кофею...

Никто в доме и не подозревал, во что превратился подвал за десятилетие Юркиной тихой возни. Много раз Колокольчик представлял, как он торжественно проводит экскурсию по своему царству – для того единственного воображаемого гостя, который неожиданно очень заинтересовался бы каждой деталькой подвальной жизни.

Началось всё с тех же мультфильмов: сначала ему захотелось просто продлить свои «сеансы». Долго на картонках и старых коробках не просидишь, а тут – удача: в первом подъезде случился переезд, въехала молодая зажиточная семья армян. Они выставили у мусоропровода запыленный диван и кресла прежних хозяев, и вечером того же дня это богатство перекочевало в Юркин подвал.

Потом расформировали местное военное училище, окна которого серели недалеко от перекрестка, где располагался «Магнит» соседки Светы. Из бывшего училища вынесли на местную свалку целую бата-

рею старых, полусломанных стульев. Юрка полдня таскал их в подвал, а затем доводил до ума: где подкрасить, где подкрутить. А тут – снова удача: после выборов меняли рекламный баннер на перекрестке, и Колокольцев выпросил у рабочих полотно с огромным лицом лысого кандидата, сулившего избирателям что-то несбыточно-привлекательное. Подвальный хозяин обтянул добротным материалом баннера потрескавшуюся поверхность курсантских стульев, и те зажили новой, гражданской жизнью. Так у Колокольчика образовался полноценный кинотеатр.

Дальше – больше. Сверкающее великолепие почти новых зрительских кресел слишком противоречило убогой серости бетонных стен и вонючей земляной полутверди под ногами. Целый год Юрка копил силы и средства: он тогда еще работал электромехаником в «лифтерной» – небольшой компании, занимающейся ремонтом безнадежно устаревших лифтов.

На местной свалке, которую он любовно именовал «эльдорадо», частенько обнаруживались самые нужные стройматериалы – то баночка еще годной краски, то остатки пластиковых панелей, а то – о, подвальные боги! – металлические решетки и ручки от старых оконных рам. Ничего зря не пропадало – всё шло в дело.

Однако до развода ему приходилось туговато: жена эту подвально-свалочную жизнь совсем не одобряла.

– Опять тебя видели на помойке! – не раз шептала ему на кухне худощавая Ленка, боясь разбудить тогда еще маленькую Пусю, их дочку. – Постыдись, Юра! Что же ты нас позоришь, юродивый ты этакий!

Колокольчик смотрел прозрачно-синими глазами на ее потертый халатик, наблюдал, как от злости судорожно поднимаются ее остренькие груди, и покорно молчал. Ленку он боялся – как и вообще всех женщин, которые кричали и ругались на него. Сначала это была его мать, иногда совсем не больно бившая его по голове тоненькими ручками – из-за плохих оценок или потому, что в очередной раз бесследно пропала его вторая обувь. Затем – учительница по биологии, которая любила вызывать его к доске и сверлить строгим взглядом. У доски он обычно молчал, смотрел на ноги одноклассников и размышлял о том, какие же разные бывают на свете ботинки, и о тех чудесных узорах, в которые складываются трещинки старого школьного линолеума.

Ленка училась в параллельном классе и была на год старше. Во время ссор – а они перед разводом стали случаться почти каждый день – она кричала: «Я тебя, дурачка, из жалости подобрала!». И Юрка,

смотря на ее халатик, не смел даже кивнуть головой, хотя был полностью согласен с ней.

Конечно, из жалости! Ведь если бы она его тогда не взяла «на поруки», не стала помогать, тянуть по учебе – он, может, и школу бы не закончил. По крайней мере, про это ему твердили все учителя.

Ленка же с детства была такая – подбирала на улице щенят и котят, кормила их, расчесывала им шерстку. Правда, недолго: у нее ведь аллергия и на шерсть, и на запах, поэтому ее мать, улучив момент, куда-то сплавляла найденышей. Вот и на Юрку Ленкиного терпения хватило лет на восемь в общей сложности: два года в школе и шесть – после того, как поженились.

Зато его любила Пуся. Вообще-то, жена запрещала ему так называть дочку: в свидетельстве о рождении ее имя обозначалось как «Наталия». Колокольчик же умудрялся ежедневно придумывать ей новые прозвища: Пухленьш, Кукосик, Стряся, Наля, а чаще всего – Пуся. Только ее, Пусю, он и допускал до сокровенных тайн подвала.

Дочке это очень нравилось, но лишь лет до семи. После развода она всё реже приходила в его «однушку», а от подвального царства Колокольцева и вовсе воротила свой пухленький носик.

А ведь как раньше было хорошо! Как хорошо было, когда вдруг в полутемноте подвала раздавался ее звонкий голосок: «Папа? Ты здесь? Мама меня отпустила погулять! А в подвал сказала не ходить. А мы ей не скажем! Правда?». От радости он смеялся, брал ее за руку и вел, переступая через сплетенья труб, в святая святых – свой кинотеатр. Он сажал дочку на самое лучшее место – третье кресло во втором ряду, и они вместе смотрели «мультки». Это были самые лучшие моменты его жизни.

Но потом всё изменилось. Жена ушла, забрала дочку. Пуся выросла в Наталию, и к отцу совсем перестала приезжать...

Колокольцев обвел глазами покрытые белым пластиком стены подвала, сухой бетонный пол и новые трубы. Каждая из них – словно ребенок для него. Трубы ГВС и отопления любовно обернуты в блестящий изоляционный материал; все вентили – новые; возле каждого из них маркером нарисована цифра этажа и квартиры, чтобы любой специалист – например, из аварийной бригады – знал, где, что и как. Не нужно теперь отключать весь дом, – лишь стояк. Он обновлял и менял здесь что-то почти каждый день, он чувствовал себя директором большого предприятия – завода по производству коммунальной жизни...

Приближался вечер. Юрка всё реже теперь поднимался на свой третий этаж, а ночевал в подвале. Тут было намного уютнее: мягкий диван, свежий воздух, совсем не пахнувший подвалом. Крыс, тараканов и прочую нечисть он давным-давно выгнал из своих владений. Собственная квартира представлялась ему чужой, а здесь, под полом первого этажа, он чувствовал себя, как в животе у мамы.

– Елена Николаевна, извините, конечно, что беспокою вас, – Ленка сразу узнала голос Ибрагимовны – уж больно та смешно пришептывала. – Я звоню вам, потому что только вы сможете хоть как-то повлиять на него...

– На кого, Роза Ибрагимовна? – спросила мать Пуси, хотя, конечно, сразу догадалась, о ком речь.

– Да на мужа вашего бывшего – Колокольчика непутевого... Ой, извините, – спохватилась их бывшая соседка. – Это у меня случайно вырвалось – мы уж привыкли его «Колокольчиком» звать. Ведь вы в курсе его ситуации?

– Н-нет... – испуганно протянула Лена. – Что случилось?

– Так ведь он вообще не платит за квартиру и коммуналку уж года два! Совсем сбрендил со своим подвалом. А вы знаете, что его уволили?

– Н-нет, – Пусина мама совсем растерялась: честно говоря, она уже как-то отвыкла думать о Колокольцеве и его проблемах – особенно после того, как года два назад вышла замуж за Головина – замдиректора местной гимназии, солидного и основательного бородача.

– Вот, я так и думала. Ведь там уж долгу за сто тысяч перевалило. Его и от воды, и от электричества отключили. Говорят, он вообще теперь из своего подвала не выходит. А ведь от отопления его не отключишь – и за него всем остальным приходится платить! Знаете, какие у нас ОДН набегают? Ради Бога, Елена Николаевна!

Лена открыла знакомую коричневую дверь своим ключом. В коридоре квартиры вроде бы ничего не изменилось, зато пахло как-то незнакомо – чем-то нежилым и забытым. На улице была уже плюсовая температура, но снимать верхнюю одежду бывшей жене Колокольцева совсем не хотелось.

Какое-то тревожное чувство заставило ее ускорить шаги. Зайдя на кухню, Ленка ахнула и прикрыла рот рукой: разбитое окно болтается на одной створке; обеденный стол устилают прошлогодние листья. Из холодильника тянет невымытой пустотой.

Еще раз окинув хозяйским взглядом кухню, она заглянула в ванную и туалет (ободок унитаза успел покрыться зеленой дрянью), а затем пошла в зал. Остальные окна еще целехоньки, но женщину это нисколько не успокоило.

– В подвале он, точно в подвале, – бормотала она, спускаясь по подъездным ступеням. – Где ему еще быть, шуту гороховому...

Подвальная дверь оказалась закрытой изнутри. Лена этому не удивилась: Колокольчик часто так делал. Она подошла к одному из подвальных продухов и, поморщившись, наклонилась к оконцу:

– Юрка! Я знаю, что ты там. Открой мне, это Лена!

Дверца распахнулась еще до того, как она вернулась к спуску в подвал. Она ожидала, что он выйдет к ней, но Колокольчик не показывался, и бывшая супруга, вздохнув, стала спускаться в полумрак.

Глазам не пришлось долго привыкать, потому что везде горели желтые лампы. Лена, застыв, осматривалась кругом и не верила своим глазам. Стены и потолок сверкали офисной белизной пластиковых панелей. На бетонном полу – линолеум, попадались и участки с ламинатом. Трубы весело и по-новому блестели теплоизоляцией; вентили краснели и синели, как бы приветствуя долгожданную гостью.

Она прошла дальше, стараясь не задеть головой потолок и трубы. Подвальные проходы-арки украшали пульсирующие зелено-синим светодиодные гирлянды: вероятно, они после очередных новогодних праздников перекочевали в местное «эльдорадо», а затем в Колокольчиковы владения. Еще через несколько шагов ей попались многочисленные полки, стеснительно прикрытые ширмами и шторочками. На них – различные инструменты, деревяшки, банки с краской и металлолом. Всё аккуратно рассортировано, всё наверняка пригодится для дела.

– Юра! – хриплым голосом позвала гостя. – Где ты?

Что-то эхом откликнулось на ее призыв – из самой глубины таинственного царства. Она, помедлив, двинулась дальше, захваченная сказочностью происходящего. Когда-то в детстве, в полусне, она воображала себя пленницей разбойников, которые вели ее по своей удивительной пещере, полной награбленных сокровищ. Сейчас это детское чувство ненадолго вернулось к ней, и Лена шла, совсем не замечая того, что ее губы то и дело растягиваются в глупую счастливую улыбку.

Он сидел в первом ряду своего зрительного зала и смотрел на сероватый прямоугольник бетонной стены. Она присела рядом, и Юрка, едва качнув ей головой, продолжил пялиться на свой «экран».

– Юра, я...

– Постой! Сейчас самое интересное! – прошептал он с той интонацией, которая появляется у ребенка, когда родители пытаются отвлечь его от захватывающего фильма. – Смотри туда.

Бывшая жена Колокольчика мельком взглянула на экран и только тут заметила темноватые тени, скользящие по стене. Перевернутые вниз головами люди, вытянутые фигурки птиц и машин...

– Правда, хорошо? – снова зашептал Юрка. Но сознание Лены уже начало возвращаться к повседневному ритму: детские воспоминания о пещере разбойников поблекли и растворились в мыслях о зеленом ободке унитаза и многотысячном долге.

– Юра! – строго произнесла гостья. – Ты когда последний раз поднимался к себе? Ты хоть знаешь, что у тебя там творится? И почему ты не платишь за квартиру?

Колокольчик опустил глаза и привычно начал искать трещины в полу.

– О Господи, горе луковое! – бывшая жена откинулась на спинку зрительского стула. – Я уж отвыкла от общения с тобой: ему говоришь, а он молчит...

– А Пуся не пришла?

– Какая Пуся! – взорвалась Ленка. – Она и не помнит про тебя, дурака! Ты хоть в курсе, сколько ей лет исполнилось?

– Тринадцать... – пробормотал Колокольчик тем самым виноватым тоном, которым он, бывало, отвечал на уроках биологии у доски.

– Тринадцать, – передразнила его бывшая супруга. – Да, тринадцать! И приходите ей к тебе нечего – у нее есть нормальный отец. И благодари Бога, что я алименты от тебя не требую – да и что требовать с такого юродивого...

Они помолчали. Спектакль из света и теней продолжался; антракт там начинался только глубокой ночью.

– Ну что прикажешь делать? Мне, может, за тебя долг заплатить? Почему тебя уволили?

– Меня не уволили... – Колокольчик стеснительно поднял бесцветные глаза; его щеки, покрытые светлой порослью, порозовели. – Я теперь в другом месте работаю – в компании, которая мусор вывозит.

– Ой ли? – с сомнением произнесла строгая гостья. – А куда ж ты деньги-то деваешь? Ты, наверное, и не ешь по-человечески!

– Кушаю я в столовой, – тихо ответил хозяин подвала. – Тут неподалеку. А деньги – сюда вот всё. Тут покупать много чего надо.

Юра обвел глазами свои подвальные владения, но тут же снова опустил их к трещинам в линолеуме.

– Надо? Кому это надо? Ты что думаешь: тебе премию выпишут за то, что ты тут из подвала офис сотворил? Или ты ждешь, что к тебе телевидение придет: «Вот полюбуйте, какой у нас Юра Колокольцев молодец! Везде порядок и красота!». Да только вот в квартире у него все мыши удавились, и окно на кухне всю зиму разбитое проболталось. Вот это его нисколько не волнует!

– Не надо телевидения! – вдруг испугался Колокольчик и даже привстал со стула. – Это не для них, это для меня, мне надо.

– А дочку с женой тебе не надо? А жизнь тебе нормальную не надо?! – закричала Лена и замахнулась на него рукой. Гулкое, тревожное подвальное эхо многократно отразило ее крик, и рука невольно замерла на полпути.

Они замолчали, и оба, не сговариваясь, взглянули на экран, где шел тот же спектакль. Гостья вздохнула, обняла за шею бывшего мужа и притянула его лысеющую голову себе на плечо.

– Колокольчик ты мой непутевый! И как ты только такой уродился? Ведь и родители у тебя были хорошие люди, и учились мы вроде в одной школе... Платить-то будешь или нет?

Юрка закивал в ответ.

– Ведь засудят тебя, последние портки продадут и еще из квартиры выкинут. Понял? Сгинешь ты со своим подвалом, вот что я думаю. Ладно, – она отстранила его от себя, быстро встала и, щелкая по линолеуму и бетону каблуками, пошла к выходу. Хозяин подвала провожал ее бесцветным, тоскующим взором: он искренне желал, чтобы она осталась, и в то же время ему почему-то очень хотелось побыть одному.

– А про Наташку, Пусю, как ты ее называешь, – даже думать не смей, слышишь? – сказала ему Лена, внезапно остановившись у арочного прохода. – Она тебя, слава Богу, почти забыла уже. Нечего ей к такому отцу ходить. Живи как хочешь, – а нас не втягивай в свою... подвальную жизнь.

Затем она простучала каблуками еще несколько пролетов и, скрипнув дверью, ушла к своему замдиректору местной гимназии. Юрка еще некоторое время думал о странной гостье, гладил ладонью

стул, сохранивший тепло ее тела, а затем посмотрел на экран. Приближался вечерний эпизод великого спектакля, и Колокольчик вскоре позабыл обо всем, захваченный любимым зрелищем.

На этот раз реакция управляющей компании была необыкновенно быстрой. Даже в аварийных ситуациях, которых, кстати, в доме не случалось уже много лет, специалистов УК никто никогда не мог дождаться. Приезжала «аварийка», бригада что-то меняла, подкручивала и – всё. От самой управляющей компании не было ни слуху ни духу.

Сейчас же реакция была совсем иной.

– Как так сам меняет? Какие пластиковые панели в подвале? А если пожар? Кто ему разрешал? Его кто-то старшим выбирал? Проверим, обязательно проверим! – отвечал авторитетный голос начальника участка Розе Ибрагимовне. Рассказ о том, что жена Колокольчика увидела в подвале, очень встревожил соседку Юрки: «А правильно ли это всё? А можно ли?!». Вот она и позвонила в родную УК.

Информация о случившемся быстро дошла до самого директора управляющей компании, который, видимо, и распорядился о скорейшей проверке.

– Да там он, там! – говорила Ибрагимовна двум парням в синих спецовках, приехавших на «УАЗике»-«буханке». – Он всегда изнутри запирается и сидит день-деньской. И даже ночует там – как сыч, ей-богу.

– И что же – нам дверь ломать? – пожимал плечами один из приехавших – с черными усиками под самым носом.

– А почему бы и не сломать? – отзывалась соседка Юрки. – Может, он там набедокурил чего или сбрендил совсем! А мы тут живем, между прочим, – я и спать теперь по ночам не смогу, зная, что он натворил в подвале.

– Ладно! – согласился коллега усатого. – Потом замок навесной сделаем. Неси лом.

Колокольчик слышал голоса за дверью, но не связывал их с собой и своим подвалом. Мало ли что происходит там, снаружи? К нему и его миру это отношения не имеет, поэтому он молча занимался своим делом – ремонтировал временно отключенный стояк с ХВС, тот, что немного подкапывал. Затем раздалась глухие удары.

– Свети давай! – говорил усатый своему напарнику. – И как этот черт здесь видит что-то: света-то нет! И впрямь смотри: панели пла-

стиковые, а на полу-то – ламинат! Вот хрен, никогда такого подвала не видел. А это что еще за иллюминация?

Парни в синих спецовках уставились на переливающиеся гирлянды возле арочного прохода.

– Во дает! – присвистнул один из неожиданных гостей. – Он тут точно живет: смотри и диван, и полочки, а тут что? Это же целый конференц-зал!

Колокольчика они в тот раз так и не нашли, хотя обыскали весь подвал. Ибрагимовна, спустившаяся-таки в Колокольчиково царство, только охала и всплескивала руками, поражаясь тому, что сделал незаметный дурачок за годы подвальной жизни. Как включить свет, сотрудники УК к тому времени сообразили и, покачивая головами, тоже ходили по подвалу, словно по краеведческому музею.

Через три дня к дому подкатил тот же «УАЗик», и из него вышли четверо в синих спецовках – двое из тех, что уже приходили, и двое поопытнее-постарше. Оказалось, что навесной замок куда-то делся, а засов изнутри кем-то восстановлен. Из-за этого им пришлось повозиться с дверью минут пятнадцать. В подвал они ввалились уже разозленные и раздраженные молчаливым сопротивлением здешнего хозяина. А затем как по команде начали обрывать пластиковые панели со стен и сворачивать линолеум с бетонного пола. Тот, у которого торчали черные усики, с удовольствием сдернул с арочного прохода светодиодную гирлянду, и она, мигнув напоследок, потухла.

Тогда только откуда-то сбоку навстречу им выступила тихая фигура Колокольчика с поднятыми кверху руками.

– Э-эй, ты чего? – испугался пожилой – его звали Алексеем Ивановичем, он числился бригадиром участка. – Чего ты барагозишь? Не видишь: люди работают!

Юрка молча смотрел на сломанные панели и порванный линолеум.

– Давай-ка, дядя, выходи отсюда! Не мешай! – продолжил Иванович, к которому вернулась привычная уверенность. – У нас распоряжение такое – убрать нарушение пожарной безопасности в подвале. Твоих ведь рук дело-то?

Колокольчик опустил руки и бесцветные глаза вниз и побрел к выходу. Его тень ненадолго заслонила просвет в искореженной подвальной двери, а затем исчезла. Рабочие в синих спецовках продолжили свое дело, и вскоре наверх полетели стулья из зрительного зала. Они тоже попали под пожарный запрет: все-таки дерево ведь, да еще обтянутое какой-то сине-белой хренью.

– Представляешь, ведь в розыск даже подала Ленка-то – пропал Колокольчик! Ни в квартире, ни в подвале своем любимом не появляется, – говорила Роза Ибрагимовна, потягивая соседский чай.

Мать двоих троечников подводила полумесяцы бровей и зевала в ответ.

– Каких только дураков земля не рождает! – снова качала головой Ибрагимовна. – Ведь у него, говорят, там даже какой-то «кинотеатр» был! Так мне говорили. Вот что без жены бывает: съезжает крыша у мужиков.

– Тебе что сегодня принести из магазина? – не слушая ее, спрашивала продавщица Света.

– Хлеба да молока. Щас не до печений и кофию – до пенсии бы дожить!

Первая авария в доме случилась года через полтора, как пропал Колокольцев. А затем – пошло-поехало: и горячая вода стала, как парное молоко, – их дом то и дело на обратку переводили. И канализация прохудилась. Потом откуда-то снизу полезли тараканы: Ибрагимовна грешила всё на подвал.

– Там ведь, Свет, такое творится: слякоть одна да вонь. Скоро крысы будут выпрыгивать из унитаза прям, а до этих, из управляющей компании которые, не дозвонишься совсем! – жаловалась на коммунальные проблемы бывшая соседка Юрки.

Еще через два года Ленка с грехом пополам продала квартиру Колокольцева и заплатила космическую сумму набежавшего долга.

Однажды Роза Ибрагимовна, вся запыхавшаяся, ворвалась в квартиру своей соседки и с расширенными от пережитого волнения глазами сообщила:

– Светка, я ведь Колокольцева видала! Вот ей-богу – как живого! Ведь сколько лет-то прошло – пять? Или шесть?

– Ну и что он? – лениво отозвалась Света, у которой сыновья поступили в местный педуниверситет и учились там на твердые тройки.

– Да я откуда знаю? Я его только мельком – полysel совсем. Но все равно я его узнала – точно он, Колокольчик наш! Пакетик какой-то нес, а там – вроде как трубы какие-то, – отвечала Роза Ибрагимовна, торопливо наливая соседский чай.

И пока соседки болтали, на другом конце города Юрка Колокольцев сидел в зрительном зале, который он почти довел до ума. Не все стулья и кресла были в хорошем состоянии, но материал от баннера

он уже припас. Бетонный пол в подвале везде сухой, и новые вентиля краснеют и синеют повсюду.

Бесцветные глаза Колокольчика смотрят на серую стену, по которой плывут перевернутые фигурки людей, птиц и машин. Он вспоминает своего давнего друга Лешку из коррекционного класса, а иногда – любимую Пусю. И сердце его бьется спокойно и размеренно – в унисон с элеваторным сердцем подвального царства. И он размышляет обо всем на свете – воде, струящейся по водоносным сосудам города, трещинках в линолеуме, напоминающих созвездия. Радость стучится в нем, наполняет лысеющую голову, и тогда он тихонько засыпает и видит свои коммунальные сны.



Топот котов

Зеленоламповская подборка Андрея Цухлова



Совещание

На скучном – аж до отчаянья –
присутствую совещании.
Повестка и ряд вопросов.
Ключу от дремоты носом.

Регламент: ни влево, ни вправо.
Докладчик бормочет вяло.
Здесь просьба представить отчёты,
внести в протокол чего-то...

А за окном-то – веснища!
И щебетом воздух насыщен.
Коктейль: воробьи и солнце.
Все брызжет, сверкает, смеётся!

А что – и у птиц со-вещание,
со-клёкот, со-стрекотание.
Повестка у них распрекрасная:
с вопросом единственным – «Разное».

Они беззаботны, им – весело,
у них же – весенняя сессия.
Направят воззванье на имя
небес голосами своими,

чтоб жить было клёво, пернато.
К чему им, крылатым, зарплата?
И пусть далеко до июня.
Они – гомонят, гамаюнят!

И мне (снисходительно малость
иль снислетально), каюсь,

послышалась ли, показалась
усмешка: «Эх, ты, homo sapiens!»

Шмель

Ты деловит,
и летишь столь увесисто
с видом таким – мол, хлопчешь...
Шмель
меж цветами,
в заброшенной местности
жизнью доволен очень.



Новый цветок – новая цель.
Ты – представитель солнца
здесь полномочный.
Рыльце в пыльце...
Трезвонь в колокольца!
Гуляй же над травами сочными!

Шмель, прицветайся,
жужливый и добрый!
Увалень ты неспешный
в буйстве лугов позднемайских...
Злятся, з-завидуют осы и оводы,
клещи там всякие, шершни...

Ну да и Бог с ними, главное, чтобы всё
благоухало и благо-ухало,
дурманя и веселя...
Как бы хотелось, особенно
будучи, в общем-то, мухой,
мир ощутить
сердцем и взглядом шмеля...

Одинокий Джордж

Тяжелая поступь. Ни страсти, ни страха.
Куда торопиться? Нелепый вопрос...
Последняя древняя черепаха
сегодня погибла на Галапагосах.

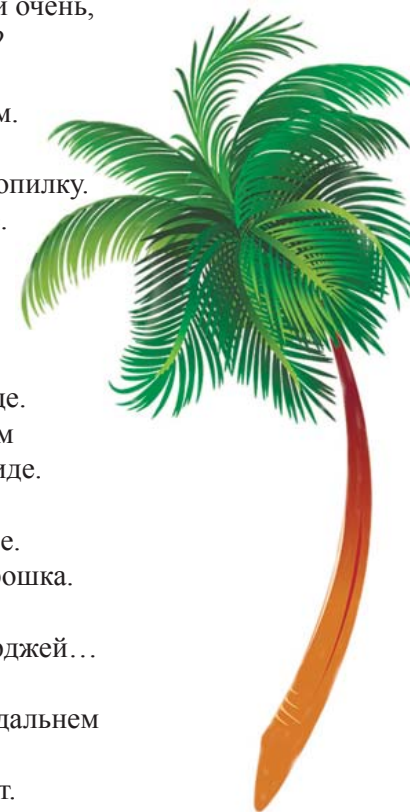
Хоть панцирь массивный и твердый очень,
но от людей защитить разве может?
Они, твоих перебив сородичей,
прозвали тебя Одиноким Джорджем.

Вновь солнца монета вкатилась в копилку.
В архиве закатов опять пополнение.
Вверху самолет загибает закрылки,
и от него – многоточие в небе.

Уже черепаха не дышит столетняя,
одна в своем роде, одна в своем виде.
Дразнили «слоновой» её, и при этом
она, хоть в беде, но отнюдь не в обиде.

В России же - холод, а ночи длиннее.
Здесь не черепаховый суп – тут окрошка.
У нас кто кого и когда пожалеет?
И сколько среди нас одиноких джорджей...

Но как представишь... На острове дальнем
застыла рептилия бесповоротно.
И волны привычно минуты считают.
И пальмы прощаются с чудо-животным...



Топот копов

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло во втором чтении поправки к закону «Об административных правонарушениях», которые предполагают штрафы за «стук», «передвижение мебели», «громкий храп» и «топот котов» по ночам.

Из информационных сообщений октября 2012 года

А что коты – они топочут разве?
Пусть заполняют мир своей движухой,
искрят глазами и поводят ухом,
мяукают воинственно-экстазно.

Куда противней злобный вой сирен,
скулеж и плач, столь слышимые ночью,
истерика и ругань из-за стен.
А тут – коты. Так пусть они топочут!

Не спится депутатам – вот беда.
Ворочаются... Может, совесть гложет.
А тут коты. Они ступают так
легко, чуть слышно, мягко, осторожно.

Бывает, дождь крадется за окном,
шурша по летним тротуарам влажно.
Иль птицы расщербечутся о том,
о сем. О чем – не так уж важно.

На пасть, на клюв поди – накинь платок,
угомони звучащую природу!
В намордник поместишь ли всяку морду
и всяку лапу – в шерстяной носок?

Я б с этой ночью тоже был «на ты»
по Невскому гулял бы до рассвета.
И мне бы все окрестные коты
передавали теплые приветы.

Печаль, как и положено, светла...
Я вкупе с согревающим напитком
мурчал бы с видом доброго кота
и излучал чеширскую улыбку.

Коты! Пусть топот ваш звучит,
от вас не ускользнет ни мышь, ни крыса.
И в благодатной питерской ночи
найдете вы своих прелестных кисок!

...Ты снова сонный пленник темноты.
Послать бы все дела к чертям собачьим!
Проснись и посмотри на всё иначе.
Прислушайся, как топают коты.

Коверный клещ

Лежит ковер. Приятная ведь вещь?
Но в нём тайком живет коверный клещ.
Он копошится и, пожрать ища,
оправдывает образ, стиль клеща.
Он непригляден, он никчемен. Что еще?
Никто бы не хотел так жить – клещом.
И часто вызывают на ковер
с утра, когда глаза едва протер.
И подковерная возня – обычный грех,
хотя пылинки хватит-то на всех,
покуда не наступят выходной
и пылесос, что черною дырой
поглотит, в неизвестность всех таща...
Таков удел коверного клеща.





Дождь с утра беспросветно льет...
 Что ж такая действительность серая?
 Окрыли меня, самолет.
 Ждет меня не дожидется Сербия.

Разве зонт защитит от хандры?
 От того, что кислые лица?
 Надо, что ли, окно прикрыть.
 Здесь дождится – не надождится.

Разве шарф сбережет мою шею,
 из которой пьет кровь
 руководство?
 Может, будет себе дешевле
 выспаться и зажить как придется.

Пусть вскипит молчаливый чайник!
 Пусть солидней взиграют басы!
 Надоело всё чрезвычайно.
 Сяду, буду растить усы.

А как только они отрастут,
 прояснится и вид окошковый.
 И туда, где меня, может, ждут,
 полечу, буду гостем прошеным.

Окрыли меня, самолет!
 Задери-ка мой нос – да повыше!
 В небесах пусть произойдет
 встреча с солнцем, весёлым и рыжим!

Фига, выскочи из кармана!
 Может, хватит таиться внутри?!
 Будь сурова, как дуло нагана,
 если зона – то дьюти фри!

А пока подождем и потерпим,
 у конвейера дней перекурим.
 И назло этой осени-стерве
 пальцы спляшут на клавиатуре.

Поднебесное

Ну вот – пристегнуты ремни.
 Они – как детские объятья.
 Ты только верь – спасут они.
 И – с Богом! Мы уже на старте.

Разгон! Отрыв! Штурмуем высь!
 Немного уши заложило.
 Мы над землею вознеслись.
 Поля – заплаты, речки – жилы.

Восторг, восторг. Чуть-чуть и страх.
 Предвосхищение. И после –
 не самолетных крыл размах,
 а рук моих широкий расплеск!

Уж стал не город – городок,
а лес – леском, затем - лесишком.
До взлёта кто представить мог,
что мир микроскопичен слишком?!

Не хватит суффиксов на всё,
чтоб уменьшали и ласкали.
Так высоко нас вознесёт!
И мы уже за облаками.

Теперь мы выше гор любых.
На десять тысяч метров – к солнцу.
И вдох в груди остался. Бы –
стрее всех машин несёмся.

А тучки? В каждой образ свой.
Кого вон та напоминает?
Лягушку? Птицу? Блин с икрой?
Или вон те – пельменей стаю?

И лишь на этой высоте –
не вспоминать о всяком вздоре.
Здесь просто хочется лететь,
а это – дорогого стоит.

Кому десятку одолжил,
там, на земле? Что там с отчетом?
Небесный путь заморозил.
Здесь как-то всё равно – чего там.

Вот атмосфера – как вода,
прозрачна. Облачка, как льдины.
О чем мы думаем всегда?
На небесах и вспомнить стыдно.

Да, дефицит глубин-высот.
Иных пространств побольше б надо!
Ужель не чудо: самолет?!
И этот взгляд, – в иллюминатор?

О, беззащитная Земля!
Одна на тысячу вселенных.
А кто, если подумать, – я?
Лишь искра, пролечу мгновенно.

Ой, вроде как заснул чуток...
Зайти щас в интернетец мне бы...
А принесут бесплатный сок?

...Привыкнуть можно даже к небу.





Дядя Коля

Солнце на закат засобиралось.
Хоть сентябрь еще вовсю теплит.
Виноградно-яблочная благодать
и осенний запах от земли.

Во саду ли, в огороде-даче
стул стоит, хотя по сути – трон.
А на стуле том – давно не мальчик,
а мужик. В руках – аккордеон.

Банки толстопузятся на полках,
и в отставке грабли, вилы, шланг.
Кабачки, капуста да морковка.
В общем, выполнен садовый план.

По хозяйству вроде всё закончил,
всё наладил, посадил, вспахал.
И под вечер, словно обесточен,
сел устало, растянул меха.

И на все лады пошел-поехал,
извлекает гроздь спелых нот.
Про струну (ну ту, осколком эха),
про тайгу (что под крылом поет).

Обнимает инструмент любовно.
Руки так гуляют мастерски.
Птицы – даже те умолкли скромно.
Воздух чист. Ни нервов, ни тоски.

Было всё. Жужжал станок токарный.
Комсомольский шумный стройотряд.
Были, были встречи с той, желанной.
Первомай. Седьмое ноября.

Свадьба, труд и новая квартира.
И детишек пробные шажки.
Окуни, клюющие настырно.
Было всё, – вершки и корешки.

А теперь – один. Но не стихает
музыка, пока ещё тепло.
И сады степенно отдыхают.
Мухи бьются лбами о стекло.

Лишь соседка с дальнего участка,
собирая яблоки в мешок,
так сказала, тихо и несчастно:
«Видно, дяде Коле хорошо».

Шашлычок на углях дозревает,
Есть чекушка. Теплится задор.
И мужик душевно исполняет
пьесу «Бабье лето. До мажор».



Кошачья виприна

*Посвящено случаю в аэропорту Владивостока
в декабре 2014 года. Написано до того, как стало известно,
что это был не кот, а кошка,
но не переделывать же из-за этого стих*

Проблемы, нервы, на душе паскудно.
А в новостях – дефолт и гей-парад.
И на работе каждый день – как судный:
кто свыше – судит, сниже – виноват.

И вроде тьмой декабрьской стреножен.
Но средь гламура, горя, нечистот,
чуть-чуть на солнце рыжее похожий,
явился этот – лучший в мире – кот.

Владивосток. Аэропорт. Прилавок.
Кто столько здесь вкусняшек разложил?!
Усатость наглой морды, мягкость лапок,
хвостатый безбилетный пассажир.

Здесь осьминоги, рыбка, там – кальмары
и всякая зернистая икра.
Крепитесь, продавцы, но это правда:
кот просто не позавтракал с утра.

Он в жизни натерпелся, настрадался,
мерз в подворотнях, жутко голодал.
Гоняли псы его, и он пугался,
чуть было под колеса не попал.

Не жаловали кошки-вертихвостки.
Никто не гладил. Кто-то даже пнул.
И вот аэропорт владивостокский:
закуски – море! Он в него нырнул.

И значит, счастье – есть. И есть немало.
Он вонзал клыки судьбе назло.

И Россия сразу поддержала.
Хоть коту по полной повезло!

Где теперь котяра ходит-бродит?
По помойкам? По цепи золотой?
Если ты по-крупному нашкодил,
не преступник ты, а сверхгерой.

Дни бегут то вкрадчиво, то прытко.
Только не забыть момент один:
как его усатая улыбка
вспыхнула на лучшей из витрин.

Навеки пвой, холодильник

Пусть я неуклюж и громоздок,
стою на маленьких ножках.
Я лишь хранитель морозов
и пищи насущной – тоже.

Я, как генерал, увешан
магнитиками-орденами.
За Прагу, за Крым, конечно.
Вновь отпуск не за горами.

Мое холодное сердце,
чувствую, скоро оттает.
Ещё бы: скрипучую дверцу
ладошка твоя открывает.

Мой внутренний мир лучезарен.
Глазами твоими любуюсь.
Ой, чем только я не затарен!
Бери вкуснотищу любую!

Во мне есть сыры и колбаски,
и баночка есть с икрою.
Бутылка сухого красного.
Ну вот, я открыт пред тобою!

А ты обожаешь суши
и любишь ореховый тортик.
Вот эту пироженку скушай,
оно тебя не испортит.

И ну её на фиг, диету!
Не можем мы друг без друга.
Теперь как насчет котлетки?
Набит я едою туго.

Я славно снимаю стрессы,
тоску утоляю, жажду.
Забудь про фигуру принцессы
и взгляды мужские на пляже.

Забудь про рекламную ересь,
гламуристость дев утонченных.
Главное – чтобы елось
и чтобы пилось увлечённо.

Свидание длилось секунды:
салатик взяла и исчезла.
Я снова ждать тебя буду,
чтоб вновь раскрыться чудесно.

Еда – это в чём-то искусство.
Еда – это в чём-то лекарство.
Пусть будет негрустно и вкусно,
пусть будет разнообразно.

Ко мне ты вернёшься ночью.
Я буду исправен, обилён.
Я злых не люблю и тощих.
Навеки твой, холодильник.

Доля ангелов

Когда изрядно мозг поклеван,
из тела выпиты все соки,
на выручку приходит снова
бочоночек древеснобокий.

Лучи заката – цвет вискарный.
Шумел листвою дуб кавказский.
Но дерево не пропало даром:
спасибо, бондарь, добрый мастер.

Прекрасен формой, содержимым,
как поросеночек, упитан.
Такой вот образ – образ жизни:
усовершенствовать напиток.

И в нём живительное благо.
Кто против – тем компот с кефиром.
Нальём-ка по чуть-чуть и надо
подрезать мяска, хлеба, сыра.

Его задача бесподобна:
за дни, шальные, словно брызги,
создать из просто самогона
янтарный, ароматный виски.

Дай Бог нам выдержки, коллеги,
такой, как у сего бочонка.
Мы зачерствели в канителях
мы высохли в головоломках.

На вкус и цвет найдем согласие,
слова, созревше-непустые.
Ведь, несмотря на все напасти,
нам этот мир не опостылел.

Ведь по ночам совсем не слышно
снисходят ангелы из рая

и осторожно, словно мыши,
чуть из бочонка отпивают.

Они-то знают толк в нектаре
и в легком головокруженье.
И прошлой ночью прилетали:
остались крыл прикосновенья.

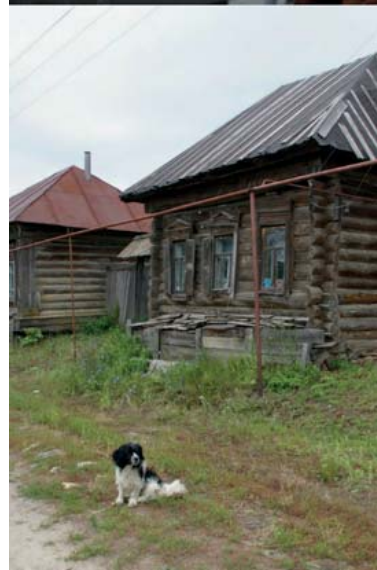
Мала их доля, не объемна,
их посещение понятно.
Впорхнут – и угостятся скромно,
они – хорошие ребята.

Беспечны, в облаках витают.
И знать, пока ещё не вечер.
Но как бы тонко намекают:
мы рядом тут, мы недалече.

Ну да, мы все немного грешны,
когда касаемся спиртного.
И, тем не менее, конечно,
оставим ангелам немного.

Друзья оценят мой напиток.
Он как родник животворящий.
Не надо игр – ни в бутылку,
и ни в рулетку, и ни в ящик.

Вам не за руль ведь, торопыги.
Вас ждёт стекло фужеров звонких.
Оставьте книги и мотыги,
и – милости прошу – к бочонку!





Е. С.

О вдохновении: выписки из жизни

Вдохновение и настоящее творчество рождается тогда, когда чрезвычайно зажат внешне и свободен внутренне. Если нет давления внешнего – обленишься, если нет свободы внутренней – не сможешь творить, но только рабски имитировать.

Уметь выбирать из того, что предлагает ум; не принимать всё, им проговариваемое, как часть себя, как своё. В этом – выход из лабиринта самообвинений и претензий к себе и к миру.

Если сумеешь прояснить туман собственных снов – сможешь точнее понимать собственную жизнь, реальность повседневную.

Из простоты и обыденности происходит вся глубина и сложность, и подвиги. Тот, кто совершает подвиг, совершает его внутри себя постоянно.

Привыкают не только к роли центра компании (постоянного говорящего), но и к роли постоянных слушателей в компании.

Творческая отдача повышает осознанность мира и самоосознание. Бесконечное потребление уводит человека прочь от себя самого. Настоящее творчество рождает ответную потребность создавать.

Оплотнение мимолетного движения души – вот истинное блаженство художника. Оно как бы продляет человека во времени и пространстве, поднимает его над тем, что он считает пошлой прозой жизни; заставляет рваться вперед, ввысь, к свершениям и подвигам.

Если бы знать, что происходит в утренней реальности и почему в ней так мало вечернего, просветляющего – того, что составляет основу жизни...

Суть в том, что если не будешь верить в себя, не решишься оплотнить свои творческие порывы, находки, то этот едва уловимый узор из ветра уйдет и развеется – будто и не было его вовсе: все гениальное до своего воплощения легко и едва уловимо. Гениальность гения – в способности уловить неуловимое для других.

Одна их характеристик хорошего произведения – способность ставить вечные вопросы так, чтобы они представлялись актуальным порождением дня сегодняшнего, от которого невозможно ни отмахнуться, ни избавиться, на который необходима живая реакция здесь и сейчас.

Чем отличается мир, в котором есть волшебство, от мира, в котором его нет? Только – точкой зрения. Реальность волшебна для того, кто открыт именно для такого, волшебного, мира. Чудо и чудесное всегда с нами, его даже не надо стараться заметить, нужно просто увидеть его там, где оно было, есть и будет, – в нашей привычной повседневности.

Кажется, у всех великих (да и не слишком) художников, писателей, поэтов – одним словом, творческих людей, есть свой круг любимых тем, идей, словечек и сюжетов, к которым они волей-неволей возвращаются снова и снова. В различных вариантах, масках, поступках, красках, характерных чертах – но это нечто устойчивое все время повторяется. К примеру, у Достоевского – это тема казни, тема ощущения себя накануне неизбежной смерти (отчет самому себе, саморефлексия); тема некой губительной страсти (деньги, женщины, вино, похоть, игра и т.п.), которую всё никак нельзя преодолеть; тема покаяния за преступление; тема вины невинного и невиноватости виноватого и т.д.

Как ни странно, эту повторяемость хочется преодолеть и – одновременно – из круга этого вырваться как-то совсем невозможно. Да и не хочется в действительности. Ведь пишется только о том, что родное, за что страдаешь, о чем искренне переживаешь; что любишь и за что боишься.

И что за привычка даже наедине с собой всё оправдываться, всё юлить и ориентироваться на абстрактного иного, на другого? У любого текста есть свой – самый-самый родной адресат, который словно именно для него и предназначен, чьего внимания он ждет, – тот самый читатель, который, восприняв текст, непременно изменится и изменит вместе с собой и весь окружающий мир.

К идеям надо относиться, как к ребёнку: беречь, любить, но не поклоняться.

Когда человек думает, что его отвлекают и сосредоточивается именно на этом (то есть не на самом отвлечении, а именно на мысли и вере, что в этом и есть подлинность), – тогда возникает раздражение и происходит работа по убийству вдохновения.

Творческие люди просто обязаны иметь более подвижную, лабильную нервную систему, более остро реагирующую на действительность и на фантазии – в ином случае никакого творчества не состо-

ится. Соответственно, им тяжелее жить в этой действительности. Единственное спасение от этой остроты – в отдаче и любви.

Бытие скучно для того, кто не может устроить себе внутреннее приключение и как-то воплотить его во внешний мир.

Интересно, что пессимизм и оптимизм так же заразны, как и мелодия какой-нибудь популярной песенки.

Если бы человек всегда жил во вдохновении, так разве мог бы он осознать, понять, оценить, а быть может, и реализовать его в полной мере? Вдохновение, как и жизнь, ценно в свете повседневности и смерти.





Евгений Сафронов

Самозванцы

рассказ

Глава 1. Бросов

В тот страшный день Иван Петрович вернулся позже обычного, потому что случился очередной матч. Друзья позвали – и он, конечно, не смог отказаться. Уже на пороге родной пятиэтажки странное чувство охватило Бросова: подъезд показался ему неуютным и даже не совсем знакомым. Списав всё на лишнюю рюмку, которой он «злоупотребил», по любимому выражению бросовской жены, после матча, Иван Петрович поднялся на третий этаж.

Пытаясь попасть ключом в замочную скважину (на лестничной площадке в очередной раз перегорела лампочка) и поминутно чертыхаясь, он все никак не мог справиться с замком. Когда наконец тот поддался, он с шумом ввалился в коридор, сбросил с себя куртку, стянул шапку и пошел в ванную мыть руки. Смывая мыльную пену с ладоней, он снова почувствовал неладное. «А Варя-то чего?». Обычно жена к этому времени уже гремела на кухне и готовилась произнести что-то вроде сакраментального: «Опять нажрался?!».

За пределами ванной царил полнейшая тишина. И тут только Бросов обратил внимание на необычный запах мыла: приторно-нежный аромат винограда, который источали в ту минуту натруженные руки Петровича, явно не относился к привычной реальности его квартиры.

– Подарил, что ль, кто? – пробормотал он и, наполовину протрезвев, приоткрыл дверь ванной. Высунув голову, Иван Петрович начал оглядываться по сторонам. Потратив почти минуту на это странное занятие, Бросов вышел из ванной и робко произнес: «Варька? Варюнчик?». Ответа не последовало, но в темноте зала за закрытой дверью что-то произошло. Кто-то большой и, кажется, тяжелый завозился, вздохнул и снова затих. Бросов совсем перетрусил, и от испуга голова его в мгновение ока пришла в такую необычайную ясность, что он сразу понял: ни подъезд, ни дверь, ни ванная, ни этот дурацкий коридор с обоями ядовито-изумрудного цвета к его квартире, к его родному «гнездышку», обжитому, уютному, где каждый уголок, пылинка-паутинка знакомы и изведанны, не имели никакого отношения.

– По пьяни всё, по пьяни это всё! – говорил он, торопливо пытаясь попасть руками в рукава своей потертой на локтях куртки. Он уже успел вообразить, как его «застукают» в чужой квартире хозяева или соседи, вызовут милицию-полицию и как будут судачить об этом... Куртка все-таки поддалась, он схватил сумку, шапку и начал было отворять замок... И – снова оторопел. Да замок-то его! Он же сам его вкручивал и как раз сорвал резьбу у левого верхнего болта.

– Что же это? Неужто «белочка»? – и в тот момент бледный Иван Петрович прямо у знакомо-незнакомой двери поклялся самому себе никогда более не пить после матча. Он не успел еще завершить текст мысленной клятвы, как дверь зала мягко и бесшумно приоткрылась и оттуда высунулась изумленная девичья головка.

– Папа? – недоверчиво окликнул его девичий голос. И тут Бросов с громадным облегчением понял, что перед ним стоит всего лишь его дочь тринадцати лет отроду. Он улыбнулся и со вздохом опустился на стул, стоявший в коридоре.

– Ладка, ты бы знала, чё мне сейчас почудилось!

Девочка открыла дверь полностью и вышла к нему в ночной кружевной сорочке. Бросов вновь ощутил безотчетную тревогу.

– Ты чегой-то как... Обрядилась-то?

Девочка молча всматривалась в Бросова, словно удивляясь чему-то.

– А мама... Мама не с тобой? Как спектакль? – произнесла она с

каким-то усилием, всё продолжая рассматривать Бросова, будто бы его внешность интересовала ее гораздо больше, чем его ответ.

– Спектакль? Ладка, да вы чё все тут? Чего вы с коридором-то натворили, пока меня не было? Когда только успели наляпать! – он пальцем нажал на бархатную поверхность дорогих обоев, оставив на стене постепенно растающий след.

Девочка помолчала, а затем подошла к нему совсем близко.

– Папа, – сказала она просто и спокойно, – это ты?

И Бросов в ту самую секунду понял, что эта девочка – совсем не его Лада. По-чужому смотрели ее добрые, слишком добрые глаза, длинные волосы были совсем не по-бросовки уложены. Тысячи мелочей в ней были не те и не такие, какие должны были быть. А тут еще... Тут еще за спиной у девочки появилось совсем невообразимое – нечто огромное, черное и лохматое принялось медленно надвигаться на бедного Бросова.

Вжавшись в стул и не смея пошевелиться, Петрович почувствовал, что его штаны и руки обнюхиваются монстром.

– Пап, ты что? – девочка гладила большого черного пса, который уселся почти у самых ног гостя.

Всё окончательно смешалось в голове Ивана Петровича, и он плачущим голосом завопил:

– Ладка, кончай! Где мамка? Хватит мне голову морочить! – услышав звук собственного срывающегося голоса, он приободрился и, разозлившись, оттолкнул голову собаки, настойчиво кладущую ему на колени. – И пса нашли где-то! Издеваетесь, сволочи?

Девочка испуганно отшатнулась, собака настороженно встала и заворчала в сторону пришлеца.

Бросов снова оробел. Девочка была уже в зале и принялась понемногу закрывать дверь.

– Ладк, постой, Ладк, – просительно позвал он испуганную дочку. – Ты не уходи, ты мне только скажи: мамка где? Позови ее, мне хре... – он еще раз взглянул на ее кружевную сорочку и, поперхнувшись, закончил. – Плохо мне, слышишь?

– Я сейчас ей позвоню! Стенли, ко мне! – Лада увела пса в зал и закрыла дверь за собой. Через несколько секунд Бросов услышал, как она разговаривает по телефону.

– Стенли?.. Блин! Я же говорил: не надо было брать левой водки. А они: всё проверено, всё ништяк, – он не знал, что делать и куда идти. Обычно в затруднительных случаях он всегда шел домой, но дом



был здесь – он точно знал, что ошибиться не мог: бывало время, когда Бросов «на автомате» добредал до дома и не в таком состоянии. А тут – почти трезвый.

Затем он услышал, как девочка, разговаривавшая по телефону, забавно ойкнула и затихла. Прошло еще несколько томительных мгновений, а затем к двери в зал с той стороны что-то подкатили, видимо, кресло.

– Мама уже вызвала полицию! – вдруг заявил из-за двери плачущий девичий голос. – Если вы попытаете зайти сюда, я натравлю на вас Стенли. Уходите, забирайте в коридоре чего хотите и убирайтесь отсюда!.. Так мама вам велела сказать, они с папой уже едут!

Девочка помолчала еще немного и добавила:

– Папа вас побьет. Вот.

В помутневшей голове Бросова снова замелькали страшные картины, он прохрипел что-то в ответ и, открыв входную дверь, бросился вниз по подъездной лестнице. Объяснить себе что-то он не пытался, мысли вертелись всё какие-то несурзные и не относящиеся к делу.

То он думал о том, что хорошо бы продать эту отремонтированную квартиру, откуда только что так позорно бежал, и купить другую, в другом районе – желательно без Стенли. То он снова ощущал запах

виноградного мыла и почему-то хотелось плакать. Наконец, он решил зайти в забегаловку на остановке около завода, а затем позвонить Володьке – своему давнишнему другу и собутыльнику, который много раз выручал его и деньгами, и, если надо, давал возможность отоспаться у себя на квартире: Володька был военный пенсионер и жил один.

Однако как назло ни сотовый, ни домашний его друга не отвечали, и Петровичу пришлось одному идти в пивнушку. Денег у него почти не осталось, но он надеялся, что сегодня смена у Васи, а последний, как известно, всегда наливает в долг.

К огорчению Бросова, вместо Васи торговала какая-то семипудовая купчиха, один вид которой нерушимо свидетельствовал о том, что Петрович уйдет не опохмелившись. Уже совсем стемнело, когда Бросов добрался до Володьки, долго барабанил в его дверь, пока из соседней квартиры обладатель весьма выдающегося баса не высказал всё, что он думает о громких стуках и предках Петровича. Он же сообщил ошарашенному Бросову, что никакого «Володьки тут нет».

– Жил тут один Владимир, кажется, Николаич по батюшке, бывший военный. Так он съехал лет пять назад. Вот. И вы тоже шли бы отсюда! – бас добавил еще нечто малоприятное и затих. Бросов тут же сообразил, что Володька никуда не съезжал – скорее всего, таким манером его просто хотят отучить ходить сюда. Тем не менее он послушно спустился и побрел по вечерней улице вдоль светящихся окон домов.

– А может, это всё мне прибрелось? Вот сейчас уже темно, холодно, а я совсем-совсем трезвый и злой, и хочу к себе домой. И я пойду к себе домой, где я живу уже лет двадцать и где всякая собака знает меня и помнит. Кто же мне сможет помешать-то? – после столь смелых размышлений повеселевший Бросов почти бегом направился к своему дому.

Он внимательно вглядывался в каждое дерево и каждый киоск, попадавшиеся ему навстречу, подробно рассмотрел потертую табличку с адресом на родном доме и только после всех этих подготовительных маневров двинулся в сторону своего подъезда. Он с тяжелым сердцем поднялся на третий этаж; на площадке уже горела ярким желтым светом, вероятно, совсем недавно вкрученная лампочка. Петрович посмотрев на входную дверь, понял, что дверь точно его, но... и не его вроде. Было что-то неуловимо чужое в ней: то ли мало было на ней потертостей, то ли не было внизу с левой стороны следов от его ботинок (будучи навеселе и без ключей он не раз пытался ворваться домой). Она и манила, и отталкивала Бросова, как старого грешника – райские

врата. Сначала он решил снова уйти, да только куда ж тут пойдешь? Он было достал ключи, но затем, вспомнив о Стенли, решил позвонить в дверной звонок и тут только с изумлением увидел, что дверной звонок действительно имелся, тогда как он сам его несколько лет назад вырвал с корнем – опять же в известном состоянии.

Он колебался минут десять, пока наконец не услышал чьи-то шаги сверху, на пятом этаже. Тогда он, подзадоривая себя и ругаясь: «Моя это квартира!» – осатанело воткнул указательным пальцем в кнопку звонка. Раздался оглушительный «дин-дон» и, к ужасу Бросова, в ответ залаял Стенли. Через несколько секунд дверь распахнулась, и... обомлевший Петрович увидел женщину средних лет – подтянутую, еще не потерявшую свежести, в красивом зеленом халатике. Несмотря на множество несовпадений, Бросов тотчас узнал свою супругу.

– Вам кого?.. Ах это вы!.. Это вы напугали мою дочь? Полиция только что уехала! Иван! – придерживая дверь, женщина кого-то звала на помощь. У Бросова пересохло горло, и он просто не понимал, что нужно сделать, чтобы всё это прекратить. Послышались быстрые шаги, и на пороге появился мужчина – кто-то до боли знакомый Петровичу, кто-то почти родной и чужой.

– Это он и есть! – быстро и испуганно зашептала женщина. Мужчина, одетый также по-домашнему, худощавый и серьезный, быстро кивнул своей супруге, смело шагнул за порог и прикрыл за собой дверь. Они оказались лицом к лицу.

Другой Иван, чуть побледнев, внимательно рассматривал испитое лицо Бросова, и глаза его заметно расширились.

– Что вам надо? Как вы проникли в мою квартиру? Полиция уже всё знает – мы подали заявление о попытке грабежа.

Петрович промычал что-то и продолжал пялиться на самозванца.

– Я. Это я тут живу... – наконец-то промямлил он. – И Ладка моя, и Верунчик. Ты – мой глюк. Тебя нету!

Решив, что произнесенного вполне достаточно, Петрович протянул вперед руку, чтобы убрать со своего пути человека, так мешавшего его законному счастью, но тут же в ответ получил прямой, мастерски поставленный удар в челюсть. Уже поднимаясь с лестницы, он услышал, как захлопнулась квартирная дверь. Прошло еще немного времени, дверь распахнулась, и высунувшаяся оттуда сердитая голова самозванца произнесла: «От полиции вам на этот раз не уйти!». Дверь снова закрылась и послышались звуки голосов.

– Вó влип! Расскажу кому – ведь не поверят! – Бросов вытер рукавом кровь с подбородка и побрел вниз по лестнице. Кажется, ему сегодня действительно придется провести ночь не у себя дома.

– Я – Бросов Иван. Спросите кого хотите в нашем дворе – все подтвердят. А паспорт у меня дома, где этот самозванец сидит. Губу мне разбил еще, сволочь! – Петрович, как заведенный, повторял на разные лады эту свою историю и уже порядком утомил полицейских.

– На него ничего нет. Будем свидетелей опрашивать, это уж в понедельник. А пока пусть посидит-подумает! – сказал, зевнув, один из обладателей погон.

– Это я чё: все воскресенье тут торчать буду? – Петрович даже задохнулся. – Да мне в понедельник в первую смену!

Но его уже не слушали, и поместили в изолятор. Там он и задремал, прислонившись к стене на жесткой кровати.

Глава 2. Другой Бросов

– Ты представляешь: какова наглость! Вернуться в квартиру, которую не смог ограбить, – всего через несколько часов! Я о таком еще никогда не слышала! – Бросов прислушивался к голосу жены, разговаривавшей со своей подругой по телефону. Сидя на кухне, он слегка массирует костяшки пальцев правой руки, которая недавно обрушилась на подбородок незнакомца. Иван Петрович не мог понять, почему этот дурацкий случай никак не идет у него из головы. Правда, он еще не знал, что грабитель пойман, но вовсе не страх перед ним заставлял Бросова всматриваться в темноту улицы.

– Послушай, Варь, ты не заметила какой-то странности в нем, – ну, в этом типчике?

– Странности? Он, кстати, здорово похож на тебя! И Лада сказала, что даже перепутала сначала его с тобой.

Бросов вздрогнул и почему-то поежился: он думал, что ему это сходство только почудилось. – Может, у тебя есть брат-близнец? – попыталась пошутить супруга, но неудачно: Бросов помолчал и пошел в ванную.

– Черт знает что! И чего я так разволновался? – Петрович решил принять душ и тем самым смыть с себя остатки неприятного воспоминания...

На следующее утро им позвонили из полиции и сообщили, что задержан подозреваемый в попытке ограбления, которого надо опознать.

Иван Петрович поморщился, но пообещал прийти в участок – сразу после работы. Работал он инженером на местном механическом заводе, – устроился туда сразу после университета лет двадцать назад.

– Вот так и пишете в заявлении: «Проник в квартиру, воспользовавшись отсутствием взрослых, угрожал дочери, пытался ограбить...» – в голосе полицейского слышалась привычная усталость от непонятливости посетителя. Немного помолчав, следователь взглянул в окно и снова заговорил.

– Личность его мы пока не установили, но он уверяет, что его зовут Бросов Иван Петрович, работает на механическом.

Бросов вздрогнул и слегка побледнел.

– Да-да, мы в курсе, что и вас так зовут, – поспешил успокоить его полицейский. – У него никаких документов не оказалось – за исключением этого.

Тут следователь выудил из лежащего на столе пакета сине-белый заводской пропуск и положил его перед Петровичем. Бросов машинально взял его в руки и через несколько секунд, словно обжегшись, вернул на место. Это был его пропуск, выписанный на его имя, правда фотография была немного другой, – он никогда бы не стал фотографироваться в спецовке.

Всё еще силясь понять, что происходит, Бросов нащупал в нагрудном кармане свои документы: его пропуск был на месте.

– Это какая-то подделка, розыгрыш, – едва слышно сказал Иван Петрович. – У нас на заводе нет больше Бросовых, понимаете?

– Понимаем, – кивнул следователь, – но ведь как-то все это объясняется... Он называет себя вашим именем, домашний адрес также называет ваш, у него есть соответствующий пропуск и ключи, странным образом подошедшие к вашему замку. Кроме того... – полицейский слегка замялся, но тут же продолжил. – Кроме того, эта его внешность... В общем, он как-то, безусловно, связан с вами!

– Что?! – Бросов неожиданно для себя от состояния какой-то растерянности мгновенно перешел в несвойственное ему возбуждение. – Какое отношение он может иметь ко мне и моей семье? Мы видели его в первый и, надеемся, в последний раз! Я...

– Хорошо-хорошо! – продолжал успокаивать его следователь. – Мы постараемся вас не беспокоить – до окончательного выяснения всех обстоятельств этого дела.

Дома Иван Петрович о своем походе в полицию не стал распространяться. «Нужно забыть об этом дурацком происшествии. В конце концов мало ли что бывает...» – снова уговаривал он себя, но мысли не подчинялись ему, то и дело возвращаясь к случившемуся два дня назад. Ночью он мучился бессонницей, а когда под утро наконец забылся, ему приснилось хмурое испитое лицо другого Бросова.

Глава 3. В больнице

На четвертый день после происшествия Иван Петрович почувствовал в себе необыкновенную трезвость. Несколько раз прокрутив в голове все, что с ним приключилось за последнее время, он решил, что у него точно была «белочка» и что единственное спасение – это возвращение домой.

– Мы держим вас здесь потому, что есть заявление: вы пытались ограбить квартиру. Есть улики и свидетели, дело передано в суд, – сказал ему следователь при очередной встрече.

Бросов только разводил руками и говорил о том, что никакой квартиры он не грабил.

– Моя она, понимаете, товарищ следователь? Я там живу вместе с женой и дочкой – да спросите кого угодно!

– Если это так, то почему же жена и дочь до сих пор не пришли за вами? – ехидно спрашивал полицейский. – Неувязочка какая-то...

Спустя еще некоторое время было решено обратиться в местную психиатрическую больницу, поскольку личность Бросова так и не была установлена.

– На почве алкоголизма бывает и не такое! – заверили полицейских врачи, и те с облегчением передали им на поруки своего «невменяемого подопечного».

В больничном стационаре Петрович вел себя в первое время очень тихо, слегка подавленный случившимся. Однако спустя еще три дня бросовское сердце нестерпимо заныло по дому.

– Сбегу! Вот увидите – сбегу! – думал он, с ненавистью поглядывая на двух широкоплечих санитаров, выполнявших роль церберов на третьем этаже, где располагалась палата новоиспеченного пациента.

Вместе с ним в палате пребывали еще пятеро больных. Самому старшему было уже за пятьдесят, он слыл за буйного, но это на него находило лишь временами – в основном, по осени. Привыкшие к этой его особенности врачи помещали «Толеньку» (он сам называл себя так) на это время в «комнату с улучшенным содержанием», то есть в изолятор. Толенька был настоящим старожилом 327-й палаты и большим знатоком больничных традиций и распорядков. К Бросову он относился сначала с большим недоверием, но, заметив его тихость и молчаливость, стал чаще подсаживаться к нему на кровать, чтобы побеседовать о том о сем.

– Вот я скажу вам так, Иван Петрович: нам ни в коем случае нельзя идти на поводу у Запада. Вы слышали про вступление в ВТО? Это черт знает что такое: почему мы всегда им что-то должны, а они нам – только советуют? Советчики фиговы! – разговоры про Запад были любимой ритуальной формулой Толеньки, с которой он начинал все разговоры с Бросовым. Заканчивались их беседы также почти всегда одинаково: старожил 327-й вдруг утрачивал всякий интерес к Петровичу и уходил, оборвав фразу ровно посередине.

Поначалу все мысли Бросова были сосредоточены только на побеге. Однажды он даже совершил попытку уйти, воспользовавшись открытой дверью в коридоре, который, как он знал, вел на лестницу. Оттуда до выхода из основного здания больницы – рукой подать. Однако попытка сорвалась: его заметила одна из медсестер, поднявшая крик. За это он был на два дня помещен в изолятор, и следить за ним, естественно, стали строже.

Шло время, и Иван Петрович начал понемногу привыкать к своему новому положению. Со всеми пятерыми соседями по палате ему удалось найти общий язык, но более всего Бросов разговаривал с Толенькой. Из одной такой беседы и вышло знакомство, резко изменившее всё направление мыслей Петровича. После очередной преамбулы про западные санкции против России Иван Петрович прервал своего словоохотливого товарища по несчастью и неожиданно для самого себя выложил ему всю странную историю своей «белой горячки».

– Вот, Толь, ей-богу не вру: почти потрезвяни ведь пришел, чё там мы выпили – кот наплакал! – Бросов сглотнул слюну, вспомнив как давно он уже не чувствовал обжигающе-приятное тепло алкоголя. – И ведь дом мой, и подъезд мой, и квартира моя, а там вместо меня – этот хрен, чтоб его! И Ладка, дочка, в кружевной сорочке, можешь представить? А Варька – худая, блин, и красивая! В общем, допился до такого, что... Эх!..

Петрович махнул рукой и замолчал. На глаза невольно навернулись слезы, и в носу защипало. Бросов ожидал, что, когда он снова взглянет на Толеньку, того и след простынет. Однако на этот раз вышло по-другому: старожил 327-й приосанился и внимательно посмотрел прямо в глаза своему новому другу.

– Вот что я вам скажу, Иван Петрович! – произнес Толенька таким покровительственным тоном, что Бросов почувствовал себя, как на очередном приеме у главного психиатра их больницы. – Вам нужно поговорить с профессором! Срочно-срочно!

– Каким таким профессором? – забеспокоился Петрович.

– Да из соседней палаты. Мужик – мировой! Он ведь тоже вроде вашего, – я с ним как-то беседовал годик назад, наверное. Он не из разговорчивых, но очень толковый. Пришел, говорит, в университет свой – а там я, ну, то есть другой он – лекции ведет. Представляете? Самого себя, говорит, увидел! Ну, конечно, скандал страшный... – Толенька вдруг поднялся и, подойдя к своей кровати, бухнулся в нее, словно в бассейн. Бросов знал, что теперь с ним бесполезно разговаривать до самого вечера – всё равно не ответит.

На следующий день, как назло, у единственного друга Петровича случилось обострение, и он надолго уединился в комнате с улучшенным содержанием. Бросов несколько дней размышлял над словами Толеньки, не зная, стоит ли вообще доверять ему. Затем он попытался навести справки насчет профессора.

– Да это «очкан», который обедать садится всегда возле окна! – сообщил ему приятель Толеньки – молчаливый татарин Кирилл, чья кровать стояла ближе всех к зарешеченному окну их палаты. По слухам, Кирилл пытался покончить с собой уже около двадцати раз.

Петрович сразу сообразил, о ком идет речь, и решил познакомиться с профессором чего бы ему это ни стоило.

Глава 4. Профессор

Вызвать на откровенность «очкана» оказалось совсем не просто. В первый раз Петрович не удостоился даже ответа со стороны профессора. Тот просто смерил Бросова высокомерным взглядом и полный собственного достоинства удалился в свою палату.

Они могли видаться только в столовой или во время редких прогулок, поскольку заходить (и даже заглядывать) в чужие палаты пациентам строго воспрещалось – под страхом изолятора и побоев, которые, как то прекрасно было известно Петровичу, случались в их лечебнице регулярно.

Пробить стену высокомерия удалось лишь после четвертой попытки: Бросов подсел к профессору со своим подносом и, пока тот молча жевал, без всяких предисловий рассказал ему печальную историю своей «белой горячки».

– Я знаю, мне Толенька рассказал, что вы тоже – ну, как это сказать?.. Тоже увидели себя самого. Так ведь? – Петрович с замиранием сердца ждал ответа.

Профессор смерил его взглядом, затем медленно склонился к нему и прошептал:

– Здесь нельзя говорить. Приду к вам сам после вечерних процедур!

Оказалось, что по неведомым причинам профессору разрешалось то, что не было позволено остальным пациентам. К примеру, он мог ходить по коридору после ужина и даже заглядывать в соседние палаты – без привычных последствий в форме грозных окриков санитаров.

– Долгов Юрий Анатольевич! – гость протянул Петровичу два холодных пальца в виде приветствия. Он уселся на край кровати Бросова и изучающе посмотрел на него.

– Судя по лицу, вы – алкоголик, – безапелляционно и глядя куда-то поверх головы Петровича произнес профессор. – Это дает мне надежду на то, что потраченное на вас время не уйдет впустую. Ведь, как вы сами сказали, причина вашего помещения в это заведение – всего лишь «белая горячка»?

– Да я в тот день и не пил почти совсем! – сказал Бросов и почувствовал себя несколько неуютно из-за высокомерного тона его нового знакомого. Впрочем, желание поговорить с кем-нибудь, кроме Толеньки, было намного сильнее, чем временный дискомфорт от профессорской манеры вести беседу.

– По крайней мере, вы сможете хотя бы понять, что я говорю – в отличие от многих, кто здесь присутствует... – Долгов обвел глазами палату с видом энтомолога, оглядывающего малолюбопытную коллекцию бабочек. – Вообще, меня очень заинтересовало то, о чем вы рассказали во время обеда. Я размышлял над этим и пришел к выводу, что наши случаи действительно в чем-то схожи. Вот попробуйте сопоставить сами: два года назад... Или нет, постойте – уже три. Да, три года назад, как и всегда по средам, я поехал в свой университет. К тому моменту я преподавал там уже почти двадцать лет. Кстати, свою докторскую я защитил, когда мне было тридцать один: я, между прочим, самый молодой доктор наук за всю историю университета!

Профессор внимательно посмотрел на Бросова и, по всей видимости, не найдя в нем необходимого отклика на свои слова, вздохнул и продолжил:

– Так вот, представьте себе: захожу я на свою кафедру в самом благодушном расположении духа, здороваюсь со всеми и замечаю, что на меня как-то косо поглядывают. Я, знаете ли, чувствителен к подобного рода взглядам и, не скрываю, всегда был человеком обидчивым. Ну да ладно. Снял пальто, хочу достать свою вешалку из шкафа, на которую всегда вешаю только я. Понимаете, у нас на кафедре так заведено: у каждого своя вешалка. А тут – занято! Я, естественно, досадную, спрашиваю у лаборантки: «Кто это, мол, пальто повесил на мою вешалку?». А она, дура старая, давно бы пора ее уволить, лупит на меня глаза и молчит.

Я бросаю свое пальто на кресло и, расстроенный, иду в сторону аудитории, где должна состояться лекция. По пути попадается пара коллег с соседней кафедры, я с ними здороваюсь и в ответ – только подумайте – снова эти косые и удивленные взгляды! Совсем раздосадованный, вхожу в аудиторию и вижу перед затихшими студентами стоящего преподавателя, – Долгов, взволнованный воспоминаниями, привстал и снова уселся поудобнее на кровати, прислонившись спиной к светло-зеленой стене палаты.

– Сначала я подумал, что ошибся номером аудитории, – продолжил он, закрыв глаза и сморщившись, словно от зубной боли. – Я уже намеревался выйти, как вдруг... Он повернулся в мою сторону, и... я увидел его лицо. Этот проклятый самозванец! Наглый ублюдок! – Долгов в волнении вскочил с постели Бросова и начал прохаживаться по палате. Остальные пациенты затихли, боясь пошевелиться. Тут профессор заметил пустую кровать Толеньки и прямо с тапочками улегся на нее. Прошло минут пять в тягостной тишине. В палате давно потушили свет, и расстроенное лицо Долгова освещалось теперь только уличным фонарем.

Наконец, Иван Петрович осторожно поднялся и подсел к профессору.

– Вы тоже увидели самозванца? Как и я? – сказал Бросов для того, чтобы продолжить разговор.

– Да, – ответил Долгов. – Он читал лекцию моим студентам! От моего имени, понимаете? На меня что-то нашло тогда, я до сих об этом жалею. Не будь этого, может, я и не попал сюда. Но нервы, нервы – все

от них. Я бросился на него с кулаками, и студенты – о, позор! – студенты принялись разнимать нас. Впрочем, он вел себя очень спокойно. Я это уже потом понял – наверное, в этом была его тактика.

Из-за того, что нападал и кричал именно я и не мог никак успокоиться, именно из-за этого – взяли меня, а не его. А он, подлец, занял мое место, мою кафедру и мою квартиру! И он сейчас живет с моей женой, которая, вот что меня более всего поражает и убивает, ни разу не пришла сюда, чтобы узнать, как я! Жив ли я? Здоров ли? – профессор закрыл глаза и разрыдался, как ребенок. Затем он вскочил с кровати и выбежал из палаты.

Бросов медленно встал и прикрыл за ним дверь. Уже через полминуты извне раздался щелчок: санитар, который наблюдал за происходящим в коридоре (и наверняка подслушивал!), запер на ночь их палату.



Глава 5. Параллельные пересекаются

В следующий раз им удалось поговорить уже после того, как вернулся Толенька. Вероятно, санитар, дежуривший в тот вечер, когда профессор рассказал о своей встрече с самозванцем, сообщил подробности их беседы начальству. В результате Долгову запретили вечерние прогулки, а в столовой медперсонал старался рассаживать пациентов так, чтобы Бросов не мог подсесть к профессору.

Впрочем, им удавалось перекинуться несколькими фразами во время прогулок. Кроме того, уже через две недели эти строгости были почему-то смягчены.

– Профессор сегодня вечером обещал прийти к нам! – сообщил однажды Толенька Бросову, радостно потирая руки. К тому времени наступила зима, и прогулки, которые и без того были весьма редкими, отменили даже для тех больных, кому они разрешались.

Пока Иван Петрович ждал прихода профессора, Толенька – как всегда неожиданно – рассказал некоторые любопытные подробности о Долгове.

– Его ведь тоже, как и меня, частенько в изолятор помещают. Он молчит-молчит, а потом на него найдет – и давай костерить всех подряд: санитаров и врачей называет «ничтожествами», лекарства им швыряет в лицо. Ну, те его, понятно, – в изолятор. Но быстро его выпускают: говорят, Юрию Анатольевичу кто-то из начальства покровительствует. Женщина какая-то.

Минут за 15 до того, как пришел Долгов, на Толеньку нашло очередное стремление к одиночеству, и он, бухнувшись в постель, не проронил больше ни слова.

– Я вот что думаю, Иван Петрович... – взволнованно и почти без прежнего высокомерия произнес профессор, едва только вошел в палату к Бросову. Толенька лежал, уткнувшись в подушку; остальные пациенты, которые побаивались присоединиться к нарушителям вечернего режима, тихо пребывали на своих местах – как и во время их предыдущей встречи.

– У меня сложилась гипотеза, которая может немного прояснить то положение, в котором мы с вами оказались. Однако для того, чтобы эта гипотеза оформилась в нечто большее, мне нужны от вас некоторые сведения относительно вашего случая! – Юрий Анатольевич вопросительно посмотрел на Бросова поверх очков. Иван Петрович осторожно кивнул в ответ.

– Вот смотрите: и я, и вы спокойно жили своей жизнью – со своими семьями, работой, – в общем, так скажем, с вполне определенным местом в бытии, – до какого-то одного момента. Нам нужно поточнее выяснить те обстоятельства, при которых вдруг вместо нас... Ну, вы понимаете меня?

Петрович еще раз кивнул, хотя не мог толком понять, что имел в виду Долгов.

– Ага! – обрадовался профессор. – Для начала давайте выясним, что именно вы делали в тот день, когда все это случилось!

– Ну, я же уж рассказывал: мы выпили с друзьями...

– Да это я помню! – мгновенно переходя от радостного возбужде-

ния к раздражению, сказал Долгов. – Тут подробности нужны, детали, понимаете?

– Ну, была пятница... Поработали там, как обычно. Потом Васильич говорит: «Сегодня матч...»

– Да подождите вы со своим матчем! – профессор заметался по палате, как вьюга в подворотне. – На работе-то вы что делали? Или даже так: начните с утра пятницы. Вот вы проснулись...

– Проснулся, – тупо согласился Бросов.

– Ну, а дальше – как собирались на работу, расскажите же, ради Бога! У меня сейчас срыв очередной будет из-за вас.

– Ага! – кивнул Петрович, с опаской поглядывая на ходившего из стороны в сторону профессора. – Ну, вот проснулся я, значит. Голова еще у меня болела.

– Так-так... – ободряюще произнес Долгов.

– Это после вчерашнего. Мы накануне немного после работы приняли – там на остановке, где мы обычно собираемся. Ну, а чё – скучно с работы домой на сухую идти. Ну вот – голова болит. Встал, в ванную пошел. Вот. А в ванной обычное это мыло лежит – ну, мыло как мыло.

– Да причем тут мыло?

– Да, подожди, профессор, раз уж рассказывать – так рассказывать! – возразил Бросов и после в подробностях минут 15 живописал Долгову историю своих злоключений.

– Так, получается, что когда вы вернулись... Можно на «ты»? Хорошо. Значит, когда ты вернулся: и мыло не то, и обои не те, и жена с дочкой другие?

– Да всё другое! Ну, не всё, конечно. Вот как во сне: вроде и то самое, а вот не то. Чувешь, что будто другое всё!

– Как во сне... – задумчиво произнес Долгов. – Ну ладно. А теперь я тебе про свое расскажу: ведь и у меня то же самое. Ведь не сразу меня в психушку-то упрятали. Я и в квартире своей, – ну, уже получается не в своей, – был. И жену видел. Но тогда я был вне себя, в ярости какой-то, мне аж глаза застило: я только одно видел и об одном думал: «Какой-то мошенник, воспользовавшись внешним сходством со мной, присвоил мою жизнь себе!». А сейчас вот ты говоришь, и я вспоминаю: ведь действительно всё было и вроде мое, и вроде как не мое... Боже! – профессор закрыл глаза ладонями. – Я будто слепой был. Ослеп от своей какой-то...

– Гордыни... – подсказал голос Толеньки откуда-то из погружившейся в ночную темноту палаты.

Профессор вздрогнул, как от удара током, и привстал. Затем он снова сел на край кровати Бросова.

– Ну, да, – согласился он наконец. – От гордости, наверное, или от обиды – как ослеп. А ведь и на кафедре даже – ведь я тогда уже заметил, а значения должного не придавал, – и на кафедре всё было как-то немного по-другому. Картины, цветы... Жена – она тоже так странно и с таким... недоумением смотрела на меня, когда я кричал, чтобы тот, другой, убирался из моей квартиры. А потом приехала полиция, и она даже не подошла ко мне, а наоборот – держалась всё возле того, самозванца. И ведь он даже не крикнул ни разу на меня! Подлец... Даже голоса не возвысил...

Они помолчали. Затем – всё так же молча – Долгов вышел из палаты, и через некоторое время в темноте, подсвеченной уличным фонарем, раздался привычный щелчок дверного замка.

Глава 6. Побег

Долгов приходил еще несколько раз до того, как они решили организовать побег.

– К идее о побеге нас подводит логика всех наших рассуждений! – словно оправдываясь перед кем-то третьим, говорил профессор. – Понятно, что всё должно быть подготовлено самым тщательным образом – и не только сам побег, но и то, что мы будем делать после него.

Детали побега они начали обсуждать уже весной, когда снова возобновились прогулки. Во время редких вечерних встреч говорить о побеге было опасно: санитар наверняка «грел уши» возле двери палаты, поскольку вечерние визиты профессора происходили под неусыпным контролем персонала больницы.

«Объясняющая всё» гипотеза Долгова, как ее смог понять Бросов, состояла в следующем: профессор уверял, что существуют некие параллельные вселенные, которые иногда могут пересекаться.

– Ну, вот геометрию же ты в школе учил, Бросов? Вот есть линии параллельные, слышал? – спрашивал Долгов, как всегда волнуясь и как всегда высокомерно.

– Да я в университет даже поступать пытался! – обижался Иван Петрович. – Думаешь, деталь сделать проще, чем лекцию прочитать?

– Ну, ладно-ладно! – умиротворяюще отвечал Долгов. – Ну так вот: если мы чертим эти линии, ориентируясь только на наше про-

странство, нашу трех или четырехмерную вселенную, то они, конечно, не пересекутся. Но вот если этих размерностей больше... Короче, Бросов, мы с тобой по какой-то причине оказались не в своей вселенной! Понимаешь? Нас что-то вытеснило из нашего мира и поместило сюда!

Толенька, который изредка тоже присоединялся к их беседам, улыбаясь про параллельные вселенные, как-то сказал:

– Да это ясное дело: вертело вас, вертело, вот как меня иногда вертит, когда я лежу и смотрю долго во-он туда, на потолок. А потом вас выкинуло, потому что вы не удержались, сломали в себе держалку-то!

Долгов обычно нетерпеливо отмахивался от фраз Толеньки, отмахнулся бы и в этом случае, если бы Бросов не сказал:

– А и вправду, Юрий Анатольевич, ведь почему именно нас выкинуло? Всех, блин, не вытеснило, а нас – вдруг вытеснило. К этим самозванцам! Почему?

– Да почему только нас? – Долгов нетерпеливо прошелся по палате. – Может, таких, как мы, много – да только как о них узнаешь-то? Вот мы с тобой закончили психушкой. Может, и остальные так же? Да и как тут еще поступить, если вдруг на одно место в жизни начинают претендовать двое? Другого-то куда деть прикажете?..

Бежать решили в июне – когда наступит тепло.

– Самое глупое будет, если мы сразу же попытаемся прийти к себе домой – ну, то есть к этим самозванцам. Именно там-то нас и будут поджидать в первую очередь. Нужно придумать такое место, где нас не будут искать. А чтобы добраться до такого места, необходимы хоть какие-нибудь деньги! – шептал Долгов своему другу во время прогулок по больничному двору.

Проблему с деньгами взял на себя Толенька. Скрывать от него свою идею заговорщики не могли, а помощь он действительно мог оказать, так как знал больницу лучше, чем некоторые врачи.

– Мне бы сын мог привезти немного рубликов! – говорил старожил 327-й палаты, у которого, как оказалось, есть сын.

– Это хорошо! – одобрял Долгов. – Нам бы только добраться до одного места – если, конечно, самозванец ничего не испортил, у меня должна быть там записка. Но я теперь ни в чем не уверен... Вдруг это только в той вселенной, а не в этой?

– В любом случае надо попробовать! – отвечал на это Бросов и бледнел при одной мысли о широкоплечих санитарях. Долговскую гипотезу про какие-то там вселенные он, кстати, не очень поддерживал и про себя считал, что все эти заморочки больше напоминают «чушь

собачью» – по любимому выражению Володьки, его давнего друга, военного пенсионера.

Он предпочитал думать о самозванцах как о людях, хитрым образом их подставивших. «Надули нас с профессором, вот и вся недолга! Вот выберусь из этой психушки, сил наберусь – и верну себе свою жизнь. Будет тогда им всем геометрия! И параллельные кривые!» – думал Бросов и про себя уже почти праздновал победу.

Сначала исчез Толенька. Из палаты его перевели ранним утром, почти еще ночью. Как это случилось, видел только татарин Кирилл, но из его до крайности скупого описания понять было что-нибудь сложно.

– Пришли и ушли. Вот! – повторял он одно и то же на все расспросы Ивана Петровича. Через некоторое время Долгов откуда-то узнал, что Толеньку перевели в другое здание больницы.

А затем исчез сам профессор. Первоначально Бросов был уверен, что причина этого – в очередном конфликте Юрия Анатольевича с санитарями, но прошла неделя, затем другая, а профессор всё не появлялся. Иван Петрович попытался узнать, когда Долгова выпустят из изолятора, но выяснилось, что в изоляторе в настоящий момент никого нет, а куда делся профессор – неизвестно.

– Он выбыл из нашего отделения! – это единственное, чего смог добиться Бросов от врачей. Иван Петрович чувствовал, что отчаяние медленно начинает преобладать над всеми остальными его чувствами, помыслами и настроениями.

Помощь пришла от того человека, на кого он никогда бы не стал рассчитывать. Однажды утром уже в конце лета к ним в палату вошла медсестра и вдруг, всплеснув руками, закричала. На крик прибежали несколько санитаров и дежурный врач. Вскочивший с кровати Иван Петрович увидел, что на том месте, где обычно лежал Кирилл, находилось нечто несуразное, с перекошенным и синим лицом.

– Удавился! – сделал вывод чей-то голос, и сразу, как по сигналу, во всем отделении началась страшная суета. Всех больных зачем-то выставили из 327-й палаты. В их отделении объявились какие-то незнакомые врачи, которых никто никогда не видел. Двери отделения, всегда запертые и находившиеся под неусыпным контролем санитаров, оказались распахнутыми.

Бросов размышлял недолго и действовал, как во сне: он заглянул в комнату санитаров, находившуюся возле двери. Увидев, что там никого нет, он быстро схватил белый халат и взял со стола упаковку медицинских масок. Затем он натянул на себя брюки, найденные на спинке стула, засунул ноги в чьи-то кроссовки, которые были заботливо задвинуты под кровать, и выскользнул из отделения. Одев на ходу халат, Бросов набросил петли маски за уши и уверенным шагом двинулся к выходу. Суета была и на первом этаже. Он замешкался только у парадного входа, так как вынужден был пропустить двух медсестер.

Через 10 минут Иван Петрович шагал в сторону автобусной остановки. Маску и халат он выкинул еще на территории больницы; найти же дырку в заборе, испокон веку окружавшем лечебное учреждение, труда не составило.

Глава 7. Держалка

В брюках, которые, по всей вероятности, принадлежали одному из санитаров, он нашел немного мелочи. Этих денег вполне хватило на маршрутку, так что через час Бросов уже шел по родному микрорайону. Чувствуя, как сердце стучит где-то в висках, Иван Петрович подошел к забегаловке, в которой ему была знакома каждая щель в полу.

«Почти полгода, – думал он с томлением во всем теле, – ведь почти полгода ни капли не пил... Зайти – а вдруг в долг нальют?!».

Бросов встал на повороте к кафе, как витязь на распустье.

«Я приду, а от меня пахнуть будет. А он, сволочь эта самозванская, будет трезвый и умный! И куда мне опять? В психушку? Нет, домой пойду!» – решил Иван Петрович и почти бегом бросился бежать в сторону своей пятиэтажки – так, словно за ним гнались все городские санитары.

Едва переставляя слабеющие ноги, он заставил себя подняться на третий этаж. Ключей у него не было, всё его нехитрое имущество осталось в больнице, а может быть, и в полиции. Тяжело дыша, он прислонился лбом к двери и долго стоял так, не смея пошевелиться. Затем робко постучался...

– Опять нажрался? – спросила его жена, и он испытал такое полное, такое несравнимое ни с чем счастье, что разрыдался прямо на пороге.

– Да ты что, Ваня? – говорила она испуганно, пока он целовал ей лицо, руки, пуговицы от халата – везде, где смог достать. Не по-

чувство привычного запаха перегара, она испугалась еще больше и поскорей захлопнула за ним входную дверь.

На каком именно факультете работает Долгов, ему подсказали в отделе кадров. В городе было всего два университета, так что искать пришлось недолго. Зайдя на кафедру, он узнал, что профессор сейчас на лекции – нужно подождать еще минут двадцать.

Бросов узнал номер аудитории и стал дожидаться Юрия Анатольевича, стоя у двери. После того, как поток студентов схлынул, он наконец-то увидел спину преподавателя. Долгов собирал какие-то бумаги со стола, а затем взглянул на дверь.



Они долго смотрели друг на друга, а потом профессор, как мальчишка, бросился к нему на шею.

– А я думал, что не было этого ничего, что сон это всё! – задыхаясь, говорил Долгов. Бросов глупо улыбался в ответ, кивал головой и разводил руками.

– Я ведь узнавал, был в этой проклятой больнице. Представь себе – хватило-таки духу. Так вот: отродясь там не было ни Толеньки, ни Кирилла. А вот врачей я некоторых узнал и 327-ю палату тоже видел! – рассказывал ему Долгов, когда они сидели за чашкой чая в студенческой столовой.

– Я теперь не пью совсем, Юрий Анатольевич. Почти... – смущенно сказал ему в конце их разговора Бросов. – Боюсь пить. До ужаса боюсь. Вот эту «держалку», про которую, помнишь, Толенька говорил – вот ее опасаясь... потерять.

Долгов понимающе кивал и блаженно щурился, глядя сквозь окно на блестящий снег, лежавший во дворе университета. Накануне вечером он как раз беседовал про нечто подобное со своей женой: она говорила ему, что он стал гораздо мягче.

– А куда деваться? – шутил он в ответ на ее слова. – В наше время мягкое и гибкое остается, а твердое и жесткое выкидывается прочь.



Экспедиционная

*Поется на рок-н-рольный,
джазовый и фольклорный лад*

Слога нет и нету песни,
Всё равно – спою,
*Буду петь, – ну, хоть ты тресни, –
Песенку свою¹!*

Поворот за поворотом,
И за далью – даль!
Скачут звуки, плачут ноты, –
Прошлого не жаль.

О дороге о российской
Пели сотни раз.
Каждый мне водитель – близкий
И родной – «КАМАЗ».

Мне не вышло быть артистом,
Каждому – своё,
Я родился фольклористом,
Вот так ё-моё!

Что же это означает?
Вроде бы – пустяк.
Что так искренне скрывает
Мой большой рюкзак?

Диктофон, кассеты, кружка,
Микрофон и лук, –
Взял бы я с собой подружку,
Но мне недосуг!

От старушки до старушки
Ходим не спеша,

¹ Две последние строки каждого куплета повторяются 2 раза.

Сказки, песни и частушки –
Не тоскуй, душа!

Тосковать – оно негоже,
Привечать нельзя,
Я спою и ты спой тоже,
Бабушка моя!

Слога нет и нету песни,
Нет-нет, ты не спорь,
Лучше с нами, с нами вместе,
Чуток пофольклёр!



Евгений Сафронов

Самогонный джедай

глава из романа «Экспедиция. Бабушки офлайн»

Стариков нехотя плелся со штативом на плече за бойко перебирающим ногами Сланцевым.

– Ну, взбодрись-взбодрись, чемпион по фольклористике, я тебя сейчас с таким дедом познакомлю – всю твою порчу и дурное настроение как рукой снимет! – увещевал Мишка друга.

– С чего-то ты взял, что у меня порча? – встрепенулся Лешка. Воспоминания о недобром взгляде студентки Любы, словно новая порция соли, легли на его коммуникативную рану, полученную сегодня во время беседы с бабой Полей.

– Да на тебя любой посмотрит и скажет, что ты испорченный. А уж фольклористы со стажем, так сразу святой водой с «Богородицей» начнут умывать. А дед Юра – так это же просто склад хорошего настроения и рецептов святой воды, то бишь самогона. Развеешься – завтра как новый будешь. Я гарантирую. Или ты о потерянном времени уже сожалеешь?

– Сожалею, Мишка, – признался Стариков. – Ведь третий день экспедиции заканчивается.

– Молчи. Темпус фугит¹, как глаголили наши пращуры. Будешь сидеть, на камеру снимать и душой отдыхать. Не всё тебе про нечисть записывать – можно и про святое один раз. Самогон, брат. Спиритус!

Они дошли фактически до выезда из села – в сторону Аркаева и свернули направо. Домишко деда Юры притулился рядом с высохшим ручьем, по берегам которого в обилии росли деревья – Лешка их в детстве называл «финиками». Многочисленные ветки усыпали небольшие белые ягодки, оставляющие вяжущее ощущение во рту.

– Аппарат у него в предбаннике установлен. Видишь ли, супруга не больно любила это дело – совсем как Катька моя, – продолжал разглагольствовать поэт, поднимая щеколду ворот и заходя во двор, как к себе домой. – Жена-то у него тогó – померла годика три назад, но он традиции самогонварения сохранил прежние – как при супруге.

Сланцев наведывался к деду Юре уже в третий раз, и Лешке такая трата экспедиционного времени была непонятна. «Поговорил ты с

¹ Tempus fugit (лат.) – «время бежит».

человеком подробно, расспросил обо всём, что тебе надо, – и вперёд к следующим информантам. Зачем мучить своими визитами одного и того же человека по сто раз?».

Впрочем, он оправдывал такую методику работы особенностями Сланцевской темы. «Тут самогон, рецептура, изготовление, тут действительно надо несколько раз ходить...» – размышлял он, пока Мишка здоровался с дедом и знакомил его со Стариковым.

– Эхе-хех, молодые люди! – кряхтел Юрий Евгеньевич, оказавшийся, между прочим, бывшим учителем истории местной школы. – Самогон и баня. Вот две вещи совместные! Попарился и принял. И душа твоя, аки горлица, воспрянула горé, и иже херувимы и серафимы! Так на чем, Миш, мы с тобой в прошлый-то раз остановились? Ага. На хмелевых шишечках. Когда и как собирать и как эту самую закваску готовить. Продолжим, господа!

Рука деда нырнула под стол, за который они все втроем уселись, и вытянула масштабнейшую бутылку, полную небесной влаги.

– Это же «четверть»! Самая натуральная «четверть»... – простонал Мишка, словно заядлый театрал, узнавший, что в его тьмутаракань вскоре проездом нагрят самый большой и самый московский театр.

– Точно так, молодой человек, – отрапортовал историк-самогонщик. – Она самая. Итак, Миша, кто о чем – а мы с тобой о шишках хмеля. Собирать их надо в августе – даже ближе к сентябрю, когда вот пыльца там эта не ушла еще. Сушат их, в кипяточке запаривают, отварик делают и мучки туда, мучки. Вот опять высушишь – и пользуешь их, как дрожжи. Да только куда там до этого до хмеля обычным-то покупным дрожжам! Не сравнить. Дух не тот. Спиритус, Миша, спиритус!

Лешка играл во время беседы весьма необычную для себя роль: молчал и следил за видеокамерой. Разговор умело направлял Сланцев, весь лучающийся оттого, что попал в стихию своей родной темы. И по-немногу от всего этого процесса Стариков начал получать странное удовольствие. Во-первых, с великой радостью он отметил про себя, что старик не повторяет одного и того же по сто раз («Проклятие пластинок сломлено! Правда, дед Юра ведь и не на Озерной живет-то...»). Ну, а во-вторых, рассказчик регулярно отвлекался от самогонного нарратива на более привлекательные для Лешки сюжетные ответвления – к примеру, говорил о потрясающих случаях из своей биографии.

– Ведь я, мужики, самого Георгия Константиновича Жукова видел живьем – вот так же близко, как вас. Дело было в Тоцком в 1954

году. Раньше об этом даже упоминать запрещали, а сейчас за давностью лет можно, – бросает как бы между прочим дед, и следит за реакцией собеседников из-под мохнатых бровей: интересно им или так – лучше на другое прыгнуть?

– Как видели? Расскажите! – не удерживается Лешка и тут же оглядывается на Сланцева: не прервал ли он тонко продуманного Мишкой сценария беседы? Но поэт даже и не глядит на спрятавшегося за видеокамерой друга: он увлечен розливом золотистого «аи» по кубкам и готов слушать Юрия Евгеньевича про что угодно – хоть про переезд жены его двоюродного брата из Бугульмы в Чапаевск.

– В Тощком тогда испытания секретные велись – оружия ядерного. Ага. Дело мудрёное, скажу я вам. Бомбочка размеру была среднего, взорвали ее метров четыреста от поверхности земли. Народу облучилось уйма, я и сам тогда, наверное, дозу получил – не случайно меня в 1980-е года частично парализовало.

Снова – раз! – и взгляд из-под кустистых бровей. Ага! Можно прыгать на следующий этап. Эй, батарея, наливай!

– Мишка, лей полную! Краев не видишь? Или за деда Юру боишься? Не околеет, не боись, с собственного продукта. Я вас еще в бане, мужики, напарю, а? Не откажетесь? Там только воды натаскать надо, а дрова-то готовы. Эх! – и разгулявшийся дед взъерошивает Сланцеву поэтическую шевелюру.

– О чем это мы? Ага. Так вы знаете, что тут раньше барыня проживала? У нее были два управляющих и слуги, а имение уж не сохранилось. И я сейчас вам кое-что покажу. Я историк или хрен собачий? Вуаля! – старый самогонщик лезет в свои закрома под неработающим телевизором и выуживает оттуда чудо: три старинных колокольчика.

– У каждого из них – свой звук. Послушайте! – и в одинокой, пропахшей пылью и духотой избе, спрятавшейся от людского взгляда на берегу высохшего ручья, звенит радостная трель – чистый, высокий звук из дворянских времен. Боже, как хорошо! («Как хорошо, что Сланцев меня сюда вытянул! Начинается экспедиция! Вот она, родимая!»). Захмелевшему Лешке хочется расцеловать деда в обе щетинистые щеки, но он сдерживает себя и лишь улыбается его изображению на маленьком экранчике видеокамеры.

– Вот звук-то у них разный – и слуги с управляющими примечали: ага, если звук потоньше, значит, тебе там, допустим, Васька, бежать надо к барыне. А пониже колокольчик звучит, побасистей – то тебя зовет, Федор там Батькович.

Дед Юра не шутил: заставил друзей натаскать в бак воды и за два часа сотворил шикарную баню – со всеми делами, отдельной экскурсией по предбаннику и демонстрацией самодельного самогонного аппарата шестидесятих годов рождения.

– Ну что, мастер самогонварения, отвечай: зачем в моем аппарате сия фиговина и из чего она сделана? – спрашивал своего верного падавана бодрый, как ядреный малосольный огурец из дубовой бочки, старик.

– Сия фиговина служит для охлаждения божественной жидкости, а сделана она, – Сланцев пригляделся повнимательнее к одному из элементов странного сооружения, напоминавшего машину времени Герберта Уэллса, – да из стиральной машинки – ну, тех, которые а ля ведро. В них можно было солдатские кирзачи стирать – универсальные машинки, одним словом, как Т-34.

– Точно так, товарищ Сланцев, точно так! – довольная улыбка деда, казалось, одухотворяла весь предбанник и избу, да и всю Астрадамовку. Правда, лоб Старикова на миг раздвоила морщинка: упоминание о солдатских кирзачах навело его на мысль о Будове. («Как он там? Живой, что ли? Надо бы еще раз попробовать ему позвонить – вдруг проявится, дембель отмороженный? Эх, его бы сюда! Вот бы зажали...»).

Когда действие переместилось опять в избу, Юрий Евгеньевич ни с того ни сего вдруг вылез из-за стола, ударил ногой о половицу, развернулся всем корпусом и заголосил – высоким, бабьим голосом:

«Матка рыжа, батька рыжий,

Сам я рыжий, рыжу взял,

Вся семейка стала рыжа,

Рыжий поп нас повенчал!» – и пустился приседать и вставать, но

тут же крякнул, схватился за спину, и фольклористы бросились ему на выручку: удержали деда от падения, довели до кровати.

– Ничё-ничё! – кряхтел неугомонный старик. – Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»... Так, сержант Сланцев, до кровати сопроводить, деда уложить.

Он зевнул, перекрестил рот, а потом закрыл глаза и захрапел богатырским посвистом на всю избу.

– Однако, – покачал головой Мишка. – Неожиданный поворот сюжета. Чего делать-то будем?

– Одеяло доставай. Дверь закроем, ворота – на щеколду, а сами – в школу. Завтра его проведаетшь еще разок, – распорядился Стариков.

– Ну как дед? Мировой? – спрашивал на обратном пути Сланцев.
 – Угу, – кивал Стариков. – Спасибо тебе, Мишка. Воскресил ты меня из мертвых, точнее Юрий Евгеньич твой. У меня ведь тоже дед в Самарской области был, по матери. Очень похож на него, умер лет семь назад. Такой дед душевный – Ефимыч. До сих пор по нему тоскую.

– Но-но, – авторитетно заметил Сланцев. – Тосковать – оно негоже, сам знаешь: покойники начинают шастать, если занимаешься подобным непотребством.

Когда они уже подходили к школе, поэт спросил:

– А тебе Юрка ничего не говорил про завтрашние планы?

– Юрка? – переспросил Леша скучным голосом. – Нет. А что?

– Ужинать, ужинать и еще раз ужинать – не помню, кто изрек сей афоризм, – ловко увильнул от вопроса хитрый автор «Домового» и оды про Хаббловский телескоп.

Аудиоверсию главы «Самогонный джедай» можно послушать по адресу: <http://ulgorod-folk.wixsite.com/nuvitarn73>



Миша Сланцев

Рожь во спасение

повесть

Нет питья лучше воды, как перегонишь ее на хлебе

Русская пословица



Глава 1. Последнее китайское предупреждение

Не сказать чтобы Иван Окрошин, коренной житель поволжского города N, в свои 38 лет был человеком впечатлительным. Но эта интернетная информация стала для него во всех смыслах последней

капель. Последней каплей водки. Даже не совсем так: последней каплей вообще любого отечественного магазинного спиртного...

Нет, чуда не произошло, и употреблять он не бросил. Слишком это было бы хреновое чудо: наподобие того, как если бы отказаться от женщин, даже от жены, перестать есть картошку или помидоры, начать смотреть на мир одним глазом или только в зеленом цвете. Добровольно не пьющие, не по здоровью, а по убеждению, для Ивана были кем-то сознательно, по дурости своей, словно отрезавшими у себя какой-нибудь орган. Короче, не от большого ума бывают абсолютные трезвенники.

Иван прекрасно понимал, что полнота и смысл жизни – не только в вине. А прежде всего – в любимом деле, увлечении, страстном желании чего-нибудь, пути к этому страстному желанию. А с этим вот уже на протяжении всей взрослой жизни наблюдалась проблема. Поиск этого любимого дела не удался. Да, Иван Окрошин всегда обожал бродить по лесам и собирать грибы, но для настоящего смысла жизни этого было мало. Подумаешь – грибы. Хотя под стопочку маринованный маслёнок или солёный рыжик – это вам посильнее «Фауста» Гёте будет. В одиннадцатом классе у него стали получаться сочинения – поступил на филфак. Но просто любить литературу – эка невидаль. Пробовал выучить французский язык – не хватило терпения. Рискнул после университета поработать в школе – разочаровался в учительстве: тетради, бумажки, педсоветы, самодур-директор, оскорбительно низкая для молодого педагога зарплата. Сторожил похоронную контору по ночам, спал среди венков, гробов и образцов надгробных памятников – и всё ему казалось, что, как в гоголевском «Вие», взлетит гроб, а в нём панночка, а наутро дети спросят его: «А что это вы, Иван Сергеевич, седой весь?».

Девушки, с которыми он периодически «мутил», не становились чем-то, чему можно было всего себя посвятить, скорее, так, для похвалы перед друзьями, ради «очередной звёздочки на фюзеляже». Потом женитьба, сын, работа в местной газете. Там приходилось писать всякую чушь, вплоть до гороскопов, рапортовать, как доблестно коммунальщики убирают снег, брать интервью у всякого начальника на тему: «Почему Вы, Солнце Незакатное, такой хороший и что еще замечательного Вы сделаете во имя людей?». Работал на выборах с разными кандидатами, писал им лозунги и предвыборные программы («Сильным – работу, слабым – заботу», «Говорю правду, служу народу» и т.д.), и с тех пор ему любая реклама стала невыносимо про-

тивна. В любом слогане, плакате, газетном заголовке и даже бутылочной этикетке ему виделся обман. Тошнотворный обман, потому что лживый восторженно-просящий женский голос просто бесил, зазывая окунуться в мир прокладок и средств против пота и грибка ногтей. Немного довелось побыть даже на муниципальной службе по тому же профилю – поработать в отделе по связям с общественностью. Но прислуживать тоже было тошно, и Окрошин устроился простым охранником в торговый центр. Ходи, наблюдай, ничего делать не надо. Но он понимал, что и это – тоска, и надо искать что-то другое...

За чередой разочарований и просто на волнах жизненной реки Иван иногда закладывал за воротник, обычно в компании друзей. В этом смысле всё было классически: сначала веселье – потом похмелье. И думал Иван, как и миллионы наивных и полунаивных людей в нашем своеобразном Отечестве, что большая голова наутро – это нормально. Если выпил – болей. Один его знакомый, побывав в Чехии, рассказывал такую сказку: пьешь с утра до вечера – пиво, «Бехеровку», сливовицу, опять пиво. А на утро – как огурчик, никакого похмелья. Балабол, конечно. Разве так бывает?!

Надо сказать, что ужасов, замешанных на алкоголе, реальных, повседневных в городе N. было предостаточно. Здесь вам не Прага. Почти каждое утро Иван встречал во дворе соседа – Мишу-Зомби. Так его прозвал Иван два года назад. Умеет русский народ навешивать прозвища. Понятно, почему Зомби, а иногда – Зомби-Апокалипсис: Миша, бледный, потрепанный, поджидал любого знакомого, чтобы стрелнуть мелочь на опохмел. «Настрелянного» хватало как раз на аптечный «фунфырик бояры» – спиртовой настойки.

Не одну тысячу спивающихся убило и покалечило это «лекарство», как правило, бедных. Сильные мира сего, конечно, не употребляли «перчики» и «боярышники», не заливали в себя омывайку и стекломой, а лакомились дорогущим «Хеннеси» или односолодовым двенадцатилетним «Маккаланом». Миша проникновенно смотрел в глаза потенциальному меценату своим коровьим взглядом, крепко жал руку и говорил надломленным, вкрадчивым, тихим голосом (в такие моменты алкоголики становятся настоящими психологами): «Слушай, выручи, а? Сколько сможешь...». Слово «выручи» было выверенным. Если ты не бесчувственная сволочь, ты выручишь ближнего своего, это же знакомый, сосед, ты ещё знал его нормальным человеком. Чё, за десятку удавишься? И при этом чувствуешь, что если жестко откажешь, пошлешь подальше, он ещё и психануть мо-

жет, ножичком пырнуть, проклянёт, под дверь нагадит. Лучше дать горсть монет, дешевле будет. И Иван обреченно лез в карман, доставал деньги, мелкие, но всё же свои, заработанные, и совал в большую грязную ладонь.

– От души. А ещё маленько?

– Всё, больше нет.

– Благодарю. На следующей неделе отдам.

«На следующей неделе». Щас, разбежался. Миша сразу плёлся к киоску или в аптеку. Больной всё-таки. Когда-то он был толковым отделочником. И ещё лет тридцать мог бы им оставаться. Когда-то у него была нормальная семья. Но спирт сделал из него Зомби. Иногда Ивану хотелось, как в голливудских фильмах, взять бензопилу и хреначить таких направо и налево. Только вот загвоздка: все эти живые мертвецы совсем недавно были вполне обычными, нечужими людьми. Это только в кино легко.

Таким был и тесть Ивана, талантливый строитель, золотые руки. Он всё мог делать по хозяйству, электропроводку, сантехнику, плотничал, столярничал, имел кучу различного инструмента, всегда что-то строгал, пилил, сверлил. Домашние на него не могли нарадоваться. И вот нарадовались: человек пил всё больше, бросил работу, стал переть всё из дома, валяться в грязи под заборами, бить жену и дочь. Его золотые руки стали трястись, он пропил сначала инструмент, потом и самого себя. Через пять лет беспробудного пьянства, двух неудачных кодирований, разборок с милицией, постоянных фанфуриков и «левого» спирта, его нашли бездыханным под яблоней в своем огороде. Иван его иногда вспоминал, глядя на остекленный им балкон, – рукастый был мужик, царствие небесное.

Что-то подобное происходило и с двоюродным братом Антоном: все его мысли, все разговоры сводились к одному – «бухнуть». Финал нечастых встреч с ним оставался неизменным: он тоже клячил, но уже не мелочь, а «полтинник» или «стольник». Неприятно было тройне: денег жалко, потому что понятно, что они фиг вернуться, мать и жена братальника, несчастные женщины, напрягались и роптали, дескать: «Зачем его спаиваешь?». А отказать тоже было непросто: «Ты мне брат или не брат? Тогда выручи». Опять – выручи. Поэтому с братаном он стал видаться реже и реже. Он, братишка, теперь тоже превратился зомби, в животное, которого и из дома не отпустишь – напьётся, набарагозит, попадет под машину, сломает руку-ногу-ребра. И дома одного не оставишь: позовет собутыльников, друзей, бомжей.

Тихий, постоянный ад, не заметный для постороннего глаза. И ладно бы чужой человек, но ведь в детстве вместе играли, вместе росли, на рыбалку ходили, на мопедах гоняли. И попивать втайне от родителей, будучи подростками, стали вместе. Это и стало развилкой судьбы: Иван удержался, стал употреблять не так отчаянно, хотя всякое бывало. А вот Антон вступил на путь алкогольного самоуничтожения. И теперь добивал себя даже с некоторой бравадой: дескать, неудачник я, всё равно сдохну. А после второго стакана с ним случалась истерика, его охватывала злоба, он норовил все разбить, бессвязная словесная матерная мешанина, как блевотина, заполняла его рот и мозг. Он постоянно курил, и рука с сигаретой даже не всегда попадала в рот. Вот так: совсем, казалось, недавно задорный мальчишка, вечно что-то придумывающий, изобретающий, затейник-заводица – теперь лежащий на диване овощ. Ещё одна жертва.

Случалось, что и Иван перебирал. Однажды он особенно крепко «накидался» в связи с тем, что наши в коем-то веке выиграла. Пришел в беспамятстве домой, провалился в сон. Наутро, понятно, голова раскалывается, во рту – кошки нагадили. А жена ему и говорит испуганно, хотя обычно в таких случаях ругалась и дулась:

– Вань, я всё понимаю, но зачем так-то вчера было?

– Победу отметили. Два – ноль.

– А ты вчера во сне разговаривал. Всю ночь. Я тебя толкаю, а ты не просыпаешься.

– Ну, извини...

– Но ты не просто разговаривал. Ты разговаривал наоборот. Как Шариков – «абырвалГ». И – целыми предложениями. Мне трудно было переводить, но я поняла, что ты куда-то идешь, тебя кто-то мучает, ты чего-то просишь. Говорил всё «жор», «жор», это что, «рожь» что ли? Или «рожа»? А ещё разобрала «отолоб, отолоб», «унот», «етигом». И так всё – словами задом наперед...

Тогда Иван схватился за больную голову и несколько месяцев избегал больших возлияний. Было страшно.

А город N. и другие населенные пункты продолжали спиваться, становясь все менее населёнными. Кто сгорал в пожаре по пьяни, кто под машину попадал, кто с нетрезвых глаз рискованно чудил. То здесь то там несли на кладбище молодых и не очень мужиков. И многие говорили: туда им, алкашам, и дорога. Сами, мол, дураки. А ведь это тихий террор, геноцид, думал Иван. И геноцид этот – чей-то бизнес, ничего личного.

А так и есть: если конкретно тебя беда не касается, то и ладно, так у нас повелось. Все заняты собой. Все делают деньги. Ну бухает кто-то за стенкой, в твоём подъезде, в твоём городе, ну погибает. В телеке вон тоже ужасов полно, за всех не напереживаешься.

Но сегодня Ивана по-настоящему торкнуло. А всё из-за такого, интернетного:

«Более 80% этилового спирта, из которого производится водка в РФ, ввозится из Китая. Это не секрет, есть данные Госстата в открытом доступе. В Китае спирт не делают из зерна, картофеля или из винограда, в Китае спирт производят из канализации. Да-да. И из этого там не делают секрета. Секретно это становится в России, где водочная мафия и их «покровители» в правительстве. Облизанные лоббистами до поросычьего визга продажные СМИ гонят оголтелую пропаганду пьянства, разврата и национального вырождения. Но факт остаётся фактом: каждый, кто выпивает водку, может смело представить себе испражняющегося китайца. И этих китайцев больше миллиарда, все много работают, употребляют в пищу всякую гадость и много, реально много испражняются. Каждый день. Канализация идет в переработку, и из этого делают спирт. Этот спирт отправляют на экспорт в Россию. Здесь предприимчивые и скользкие людишки разбавляют эту гадость, клеят этикетки и продают бутылками. Китай работает на унитазах. Русские пьют и дебелиют. Олигархи только успевают распахивать бабло по оффшорам».

Это было уже слишком. Иван действительно представил китайца, который тужится на унитазах. Воображение разыгралось, и появились картины маслом, точнее, дерьмом: километры говнопроводов несли нечистоты Поднебесной на особые заводы. Они молодцы: делают всё и вся – из вонючей жижи у них получается дешёвый спирт. А мы за него еще и деньги платим, вырученные от продажи нефти и газа, из которых тоже, говорят, делают спирт, из газа этилена. Ну ладно бы ещё гидролизный спирт из опилок (вспомним бессмертные строчки Высоцкого), ладно из нефти. Но, с..ка, из дерьма!... Это называется химическая промышленность на службе человечеству. И что же мы читаем на водочных этикеточках? Вековые традиции, очищено молоком, серебром и медом, вода кристальная из ледника да родника, – да просто не водяра, а эликсир вечной жизни, лекарство от всех болезней, панацея от всех бед. И, купившись на этот паблик рилейшенс, отдаешь деньжищи, чтобы стать обладателем китайского говнища, мочи, блевотины – только на молекулярном уровне. Пей,

Ваня, запотевшую, под огурчик, козленочком станешь, бараном, Мишей-Зомби, хватайся за нож, круши мебель, теряй работу и уважение людей, превращайся в коровоглазого дрожащего дебила, подымай от цирроза, делись кровно заработанным! Уплывут твои рубли – часть на акциз, а в основном – богатею-бизнесмену. Ну и ма-а-аленькая копеечка достанется продавцу в магазине и тому китайцу, с которым ты братья навек. Нет, Иван Окрошин ничего не имел против китайского трудолюбивого народа, который за каких-то двадцать пять лет вывел свою страну в мировые лидеры. Он просто имел скромное желание – не наливать в свою рюмку дерьмо.

А ведь если так подумать – не только водка. Этот этанол, – кстати, как звучит «этот этанол», – made in China, могут лить и в другие напитки – коньяк, вино, пиво. Где гарантии, что нет? Как проследишь? Каждого мерзавца за руку не поймаешь на ликеро-водочных заводах, и тем более в многочисленных ангарах и гаражах по всей нашей необъятной Родине.

«Даже если это правда хотя бы на один процент, – уже катастрофа. Потому что один процент – это несколько миллионов китайцев. Докатались...», – подумал Иван.

И тут ему вспомнилась пересказанная одним из его приятелей история. Не связанная на первый взгляд с «китайской страшилкой», но тоже характерная для российского питейного кошмара. Так вот: работал этот приятель на крупном пивзаводе. Неважно на каком, городок в восьмидесяти километрах от областного центра. А там – всё для производства так называемого пива: крупные баки, трубы, громадные объёмы, владельцы иностранные – то ли голландцы, то ли датчане, то ли турки. Приятель в числе других был ненадолго привлечен для ремонта оборудования на этом славном предприятии, которое, как говорят, за счет акцизов приносило в бюджет N-ской области четверть всех доходов. Из-за этого, по слухам, директору многие шалости с рук сходили, ну там дебош в ресторане, неуплата налогов, яхты и недвижимость за бугром. Выполнив все работы, приятель говорит местным сотрудникам: плесните пивка, что ли, нам в дорогу. А лето, жарко. Пивзаводцы или пивзаводчане отвечают: да легко. И наливают полную канистру... воды. То есть на вид – воды. Эти товарищи-ремонтники: «Да вы чё, офигели?». Те: «Спокуха, сейчас сразу не пейте, а как до своего города доедете, тогда и вперед».

Ладно, пожалели плечами, взяли канистру. Добрались до своего N., открыли – а там и вправду пиво. И пахнет пивом, и на цвет пиво, и пенистое, извините за латынь, всё как положено, то есть как наливо.

И главное – на вкус – пиво, и градус есть, в мозг шибает. Выпили они это дело... Помните сухой сок «Юпи» в девяностых, «просто добавь воды»? Такая же мерзость, только пиво имитирует, а не сок. Понятно, что не было в этом химерстве ни солода, ни хмеля, ни дрожжей. А разные реагенты, да спиртик сомнительного происхождения, может, и китайский. Одним словом, пейте на здоровье. Будет у вас брюхо расти, а кончик сохнуть, появятся женские гормоны, сиськи вырастут. Недаром же полторашку пивную в народе «сиськой» называют, а медики периодически вещают про пивной алкоголизм. Только у нас могли так обгадить янтарный древний напиток.

Вот почему, размышлял Иван, иностранец со своей выпивки улыбается, песни поёт, а русский дуреет, звереет и пополняет пьяные криминальные сводки. С этой водки – в криминальные сводки. И песни не поет, а ревет. И что-то не видно, чтобы там люди с крепких напитков в скотов превращались. Пьют в Грузии и Армении коньяк, но как достойно, изящно, поэтично, ритуально. Там даже во времена горбачевского «сухого закона» трезвяки позакрывали – некого там держать было. Пьют во Франции кальвадос – никто там особо не обыдличился и тем более не умер от палёнки. Почувствуйте разницу: русское слово «палёнка» (фальсификат, несущий смерть) и венгерское «пáлинка» (фруктовая самогонка)...

«Да неужели водку нельзя в принципе сделать нормальной? Почему она у нас вся отличается лишь этикетками и степенью мерзости?» – размышлял Иван. И сам себе отвечал: «Да можно, конечно». Только если задача для пьющего – тупо напороться – то какая ему разница, из пшенички сделано или из опилок? А из зерна – это мурно, дорого, возни много. А чего ради? Чтобы эту водку влил в себя какой-нибудь ханыга?

Окрошин вспомнил случай четырехлетней давности. Приятель Ивана, Степа Колотов, специалист по оборудованию на хлебозаводах и мельницах, раздобыл как-то бутылочку шведской водки «Абсолют». То, что она была настоящая, сомнений не вызывало, потому что родственники Стёпы привезли этот гостинец из Хельсинки, из магазина «Дьюти фри». Друзья тогда состряпали нехитрую закуску из колбасы копченой, яблока зеленого и сока томатного. Откупорили, разлили, чокнулись. Опрокинули по первой. Водка всё-таки, поэтому по русской привычке – опрокинули.

– Не понял... – сказал Иван, – это что такое? И сколько тут градусов?

Водка вошла легко, приятно, и лишь тепло мягко расходилось внутри.



– Даже можно не закусывать, – изумленно отозвался Стёпа.

– Как говорила моя бабушка, словно боженька босичком прошёл, – озвучил свои ощущения Окрошин.

Потом они продублировали, потому что между первой и второй. Потом по третьей. Опьянение было бархатным, язык не заплетался, мозг оставался вполне ясным.

– Говорят, шведы делают свой «Абсолют» из особых сортов озимой пшеницы. Ну и качество шведское.

– Блин, тогда из чего тогда делают нашу? Обидно, что даже водку за границей делают лучше нас. Водку – наш национальный символ. Нашу гордость.

– Нашу гадость, – скривился Стёпа.

Через пару месяцев у Стёпы случился день рождения. По этому случаю небогатые приятели решили разориться и скинулись на такую же бутылку «Абсолюта», купив оную в ближайшем продуктовом супермаркете. Можно ради качества и раскошиться.

Принесли. Откупорили, разлили, чокнулись. Что такое? В нос ударил запах ацетона. Попробовали. На вкус это была с трудом глотаемая спиртосодержащая вонючая жидкость.

– Из особых сортов озимой пшеницы, – сказал морщась Иван.

Колотов, день рождения которого был испорчен, выругался такой синтаксической конструкцией, что покраснела даже этикетка на злополучном сосуде.

Приятель понесли откупоренную бутылку обратно в магазин, благо – чек Иван не выбросил. Продавщица посмотрела на друзей как на нетрезвых идиотов, которые еще и издеваются. Но о нетрезвости речи не было, ведь эту водяру приятели пить не стали. И главное не так обидно даже, что спирт паршивый, прискорбно то, что он таких конских денег стоит, словно его и впрямь из Швеции привезли. Да с таким трудом, будто мы до сих пор со времен Полтавы с этой страной в состоянии войны.

– Ишь чего захотели! Бутылку им поменять! – бухтела толстая, измордованная жизнью продавщица. – Деньги им вернуть! Водка им невкусная!

Пострадавшие потребители в лице Ивана и Стёпы не сдались, накатали жалобу в Роспотребнадзор, расписали ситуацию, присобачили к письму чек и намекнули, что напишут обращение на сайт производителя в Швецию. Местные чиновники, видимо, испугавшись возможного международного российско-скандинавского скандала, обязали магазин вернуть деньги или заменить аналогичным товаром на усмотрение пострадавшей стороны. Посовещавшись, друзья решили взять водку, тоже дорогую, но уже отечественную. Она оказалась не намного лучше того ацетона, который был залит под видом имени-того бренда. «Надо было тогда деньгами взять», – говорили приятели, вспоминая тот эпизод.

«Значит, водка может быть и неплохой, – думал Иван, – если она действительно из хлебного зерна. А у нас если такую и делают, то малыми партиями, продают «своим» и задорого. Ну и что, что пшеницы полно. Нефти, газа, леса и алмазов – тоже завались, а народ в целом бедный, закредитованный. Вся Волга в гидроэлектростанциях, а электричество дорогое. Украл мешок картошки – реальный срок, украл миллиард – уважаемый большой человек, ну с кем не бывает. Широка страна родная, а самолеты свои производить почти перестали. Много в ней лесов полей и рек, – расти хлеб, казалось бы, да делай нашу русскую водочку, ан нет – завозим китайский спирт. Всё криво, всё через ж...»

А еще Ивану вдруг вспомнилось, как ему довелось побывать в поселке Сурское Ульяновской области 22 мая 2009 года. Это был особый день – Никола Вешний. Над Сурским возвышалась Николина гора – святое для православных место. В этот день сюда приехало много людей, чтобы взойти на гору, найти камушек с ликом Николая Угодника, помолиться, загадать желание, набрать воды из родника у подножия горы. По легенде, во времена Ивана Грозного Николай Угодник и Георгий Победоносец явились здесь полчищам кубанских татар, и те отступили, не решившись напасть на немногочисленный русский гарнизон. И вот что было в ряду воспоминаний Ивана о том дне: стоит к источнику длинная очередь, комары тучами роятся, все отмахиваются, все хотят набрать водички. У одной бабушки не оказалось пластиковой бутылки. И она купила в магазине баклажку пива, вылила его под куст и встала в очередь за святой водой. Тогда это показалось Ивану диким, неразумным. Но теперь, через несколько лет, он восхищался этой бабушкой. Вот как надо поступать с тем, что сейчас продается, именуясь пивом, со всеми этими балтиками, охотами, клинскими. Если бы люди в России выплеснули к чертям собачьим всё это пойло, и обратили бы свои устремления к живой и чистой воде... Вот какие высокопарности были в этот раз в Ивановой голове.

«Попей-попей – увидишь чертей». Но с другой стороны – «Пьяного да малого – Бог бережёт». Говорят, что первый шотландский виски делали монахи. Ирландцы утверждают, что виски – это их изобретение, и научил их делать этот напиток святой Патрик. А князь Владимир, когда выбирал веру для русичей, сказал типа того: «Ну что вы, товарищи послы басурманские, для нас питье это веселие есть. Нам без питья никак невозможно. А посему – будем мы христианами». И пиво многие века в Европе, да и на Руси, варили в монастырях. Есть байка, что в 17-м веке европейские монахи попросили у Папы Римского благословить свое пиво и Папа выдал: «Liquidum non frangit ieiunium», то есть «жидкость не нарушает поста».

И сегодня в монастырях, например, на Балканах всю делают вино и даже 50-градусную препеченицу из сливы. Поэтому «аква вита» может быть и злом, и благом. Как женщина. И человеку свыше дана возможность выбора, какой напиток вкусить – прекрасное испанское сухое вино, вобравшее в себя солнце, шелест листья, сок винограда и запахи лета или «спирт этиловый ректифицированный», ароматный армянский коньяк, томившийся годами в дубовой бочке, или вонючую жидкость «для наружного применения». Человек – это сосуд, и чего в него нальётся, тем он и станет.

Даже теперь, после прочтения опуса про китайцев, для Ивана не было философского вопроса «Пить или не пить?». Но во весь рост возник другой – «Что пить?». Крепко призадумался Иван и вышел изучать хмельную тему более досконально на просторы интернета, прихлебывая пока на всякий случай чаёк.

И вот куда завела его далее тупоносая компьютерная мышка...



Продолжение следует...



Павел Половов

Приручить белку



Мы лежали в палатке. Она, наконец, уснула. Да и пьяные «соседи» притихли. Я удивлялся тому, что правая рука, которой грел ее руку, лежащая в крайне необычном положении, не затекала, хотя пребывала так уже час, примерно.

Я чувствовал, что от ее запястья тянет холодом. Надо было греть. Я боялся, что она простудится. Да и хотелось, чтобы она поспала максимально комфортно и много. Ну, насколько это вообще возможно в пыльной холодной палатке. Я стал тихонько опускать

руку к запястью, но она вдруг, видимо, решив во сне, что я убираю руку, крепко ухватилась за нее. Я замер. Такое тепло вдруг вспыхнуло в сердце! «Я нужен ей!».

Ну, примерно, так... Не дословно, конечно. Приятно просто до невозможности, красиво как-то, ласково и ответственно. Как у Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Детское какое-то чувство, чистое такое, искреннее. Вспомнил детство...

Мне было 9 лет, когда учительница повела нас на экскурсию в лесничество. Там мы смотрели, как пилят бревна на доски, как мужики ворочают бревна, как фонтаном летят опилки...

Вдруг прямо откуда-то из под пилы выскочила белка. Испуганная, взъерошенная, не знающая, куда бежать. Заметалась, прыгнула на месте и бросилась прямо на нас. Одноклассники, а особенно одноклассницы завизжали, прыснули во все стороны, а я... Я не прыснул. Мне было настолько жалко ее, что не испугался даже тогда, когда она вцепилась коготками мне в одежду и резко и глубоко засунулась ко мне в подмышку.

– Прижми ее рукой! Не бойся! Она не сможет укусить! Сейчас! – кричали, подбегая ко мне мужики.

– А ну стоять! Не пугайте мне животную! Дай-ка, сынок, ее мне. В парке сейчас выпустим...

Старика, спасшего зверька, звали дед Лешка, он работал сторожем в леснической конторе. Прозвище было – «гармонист», потому что ночами он садился на крыльце конторы и играл тихие и протяжные мелодии. Летом.

Я с ним пошел в парк, больше он никому не разрешил. Белку отдал нести мне. Та, видимо, от перенесенного стресса, обмякла и казалась почти неживой.

– Она, что, умрет?

– Нет, сынок, должна отойти. Ее дом, вишь, спилили. Все ее запасы рассыпали. Переживает! Ну, мы ее с тобой в парке поселим, в дуплянку. Только она голодать будет. Надо будет ее кормить.

– А чем? Орехами?

– Если есть, приноси. А так можно семечками, земляных орехов в магазине ей купим... До лета дотянет, чай!

Белку старик велел посадить на ствол ели. Она замерла, только вцепилась в кору коготочками. И тут мне стало жалко ее отпускать. Она была такая мягкая, такая бедненькая! Дед Лешка это заметил:

– Не балуй,пусти ее. Вишь, она у тебя спряталась, а ты ее доверие предашь! Нельзя так, парень. Повезет, так не в последний раз увидите.

Белка прижалась к стволу, на пару секунд застыла, не веря своей свободе, и рванулась вверх. Я ушел...

Я думал о ней. Хотелось, чтобы она поверила мне. Чтобы пришла на руки, чтобы можно было ее гладить не удерживая, чтобы она, словно кошка, подставляла голову.

На следующий день я пришел к гармонисту после уроков. Темнеет зимой быстро, поэтому торопился. Дед был в парке.

– На свою животную глядеть пришел? Она тебя искала, – сказал дед и засмеялся. Стало как-то обидно почему-то.

– Просто вы сказали кормить надо, я принес...

Я показал бумажный пакет с земляными орехами, как тогда называли арахис.

– Ты не обижайся, парень! Да и стесняться нечего. Хочешь, небось, к рукам ее приручить? Белку приручить почти невозможно, разве только она сама тебя допустит. А кормить, ты верно сказал, надо. Она ждет. Я не стал ее кормить, подумал, что ты обязательно придешь, увидеть ее захочешь. Только, если не покажется тебе, ты не оби-

жайся. они же стеснительные, как люди! Я ведь всю жизнь в лесу, они из лесных самые умные. Приходится им. Вишь, и мех у них ценный, и съест каждый может, хоть филина возьми, хоть лису... Да и склады их грабят кому не лень! И клесты, и дятлы, и все-все! Приходится им всего опасаться, отовсюду бежать, закрома свои тщательно прятать. Но они не трусливые. Видел я раз, как белка бельчонка своего упавшего от лисы отбивала! Отбила! А тут еще и я успел, спугнул рыжую. Они, белки, особый народ лесной, у каждой свой характер. К плохому человеку ни в жизнь не подойдут. Раз к тебе прыгнула, значит есть в тебе что-то... А может, ошиблась? – он подмигнул и улыбнулся.

Я тоже улыбнулся:

– Проболтаем, а ее не накормим. Как ее накормить?

– Вон следы на снегу, видишь? Туда сыпь. И отойдем на крылец. Мы отошли, сели.

– Сынок, ты туда пристально не смотри, напугаешь, чувствуют они это. Ты делай вид, что ничего не происходит. Когда увидишь ее, тоже не смотри, гляди мимо. А то сбежит.

Пока он все это мне говорил, я ее увидел. Она поглядела на меня, спускаясь вниз головой по стволу небольшой сосны. Забыв о совете деда, я не мог не смотреть на нее. Она занервничала. Движения ее стали отрывисты, сама она, не глядя по сторонам, схватила орех и в секунду скрылась в ветвях...

Я стал приходиться каждый день. Иногда с последнего урока даже сбегал, но, правда, Лешка меня за это ругал и обещал даже в парк не пускать «в следующий раз». Его советы помогли мне не отчаяться завоевать белкину дружбу.

– Ты каждый раз ближе вставай. На спичечный коробок, но ближе. Она тебя не боится, она стесняется. Вот ты пялишься на нее! А не надо бы. Я бы на ее месте в жизни бы к тебе не вылез! Надо, какой упрямый! Стоишь – не двигайся. Даже не моргай. Она все-таки дикая, у ней инстинкт – бежать. Ты доказать должен, что тебе верить можно. Вера – она такая! Ее сразу не бывает. А если сразу, то это не вера, а глупость. Эх, сынок, сколько еще в жизни людей будет, которым ты поверишь, которые тебе поверят... Главное, никогда не подводи тех, кто верит тебе. Ничего не бойся, а этого – бойся! Никогда не подводи! По мне, так только этим в людях людское измеряется.

Недели две гармонист наблюдал за мной и белкой, пока однажды не сказал:

– Некогда мне на вас смотреть! Да и что вам мешать? У вас свое, а я – лишний. Ключи я под третью доску на крыльце кладу, справа. Меня не будет, замерзнешь, заходи, грейся, чай пей.

С тех пор никогда он не выходил к нам с белкой. Наша дружба начиналась. Белка стала выглядывать из веток еще тогда, когда я не подходил, так рассказывал мне дед. Сам я этого не видел потому, что, по словам деда, она всегда пряталась, услышав мои шаги. Если бы не эти рассказы, я бы отчаялся. Никак она не хотела подходить! Еду брала, но на меня будто бы вообще никакого внимания не обращала. Даже, наверное, хуже, чем раньше. Поначалу она всё же рассматривала меня, опасаясь или интересуясь – не знаю, но теперь я для нее просто пустым местом был. Дед Лешка смеялся надо мной, когда я ему рассказывал, советовал быть терпеливее. Я терпел. Ну не так чтобы... Кормить ее я бы и без рассказов кормил, куда она зимой без припасов? А вот надеяться бы перестал.

Ноябрь и декабрь я приносил орехи, семечки... Взял в библиотеке книжку натуралиста Мантейфеля, директора Московского зоопарка, изучал, что едят белки, как живут, что любят и чего боятся. Я приносил ей лучшие орехи, лучшие шишки, за которыми тайком бегал в лес. А она не обращала на меня никакого внимания! Я жаловался гармонисту, а он всё время советовал подождать. Настал Новый год.

К Новому году я приготовил белке праздничное угощение: на большом блюде, которое стащил у мамы, я красиво разложил шишки с семечками, украсил все донником и клевером, который выбрал из сена, посыпал лущенными орехами. Дед Лешка вздохнул смеялся над моими приготовлениями:

– Ну всё! Белка такую красоту есть не станет! Срисует этот натюрморт и в дуплянке над комодом повесит!

Я вынес блюдо и поставил на то место, куда обычно сыпал корм. Стоял. Ждал. Белка спустилась, как обычно, не взглянув на меня. Подбежала к блюду и остановилась. Картина ее озадачила. Она разглядывала блюдо, а потом взглянула на меня. Я сказал:

– С Новым годом, белка! Угощайся!

Она подошла ко мне. Вдруг! Остановилась в метре, посмотрела... Встала на задние лапы посмотрела на меня еще раз. Вернулась к блюду и взяла лапкой цветок клевера.

– Ладно, белка, ешь! Ухожу!

Я заскрипел валенками в сторону конторы. Оглянулся. Белка пошла за мной! Я остановился. Она тут же скрылась в ветвях ближайшего дерева.

С тех пор белка не уносила орехи сразу. Она подолгу сидела, смотрела на меня, а я ей что-нибудь рассказывал. Про школу, про Эльмиру в лагере, про драку с Димкой Статениным, про победу на областном шахматном турнире... Постепенно она перестала бояться моей жестикуляции, я показывал ей все в лицах, орал, изображал...

Ленка, Танька, Ромка, Айрат, Димка, Светка и ее брат Серега – вся наша уличная компания – обижались на меня. Я совсем перестал играть. Я приходил из школы, ел, прямо во время обеда читал учебники, а потом убегал в леснический парк к белке.

Белка уже всегда ждала меня у входа, иногда даже на самой ограде. Она бежала рядом. Не боялась меня, я иногда гладил ее, но на руки взять себя не позволяла, ругалась. Вы не слышали, как ругаются белки? Это очень смешно! Она садилась на задние лапки, быстро-быстро махала передними и верещала! Причем интонации были именно ругательные. Она разговаривала со мной, когда я ей что-то рассказывал, тогда ее «речь» имела другие оттенки, а когда пытался взять – ругалась.

Настала весна. Снег таял, и в лесничество стало ходить трудно. В резиновых сапогах я падал, а в валенках было вообще не пройти. Тем не менее я каждый день бывал у белки. Мы общались и даже играли, то она, то я гонялись друг за другом.

В тот день вместо белки меня встретил у ворот дед Лешка. По лицу его было не понять, о чем он думает, но смущен он был явно:

– Привет! Ты, прямо как на работу, ходишь!..

– Дед, что случилось?

– Да нет, страшного ничего. Оно ведь ничего нет страшного, кроме войны, – он попытался улыбнуться, но не вышло.

– Что с белкой?

– Да ничего. Ушла она. В лес. Женихи за ней пришли, с ними и ушла. Природа. Домой ей надо! Не век же тут в парке вековать.

Стало до того нестерпимо обидно! Горько так!

Я бежал по лужам и льду, падал, слезы заливали глаза и только одна мысль: «Ну и ладно!».

Хотя «ладно» не было. Я понимал, что у белок начался гон, что в парке белке не житье, что она не моя, а своя собственная... Но успокоиться не мог. Уже не плакал. Пришел домой. Лег. Не спал всю ночь, пошел в школу, просидел на уроках, пришел домой... Надо было идти в парк. но я не хотел. Знал, что там расплачусь, а плакать нельзя. Я же не девчонка!

Примерно с неделю я почти даже ничего не ел. Не хотел. Благо – мама с папой с работы приходили поздно и заставить никто не мог, потому что я делал вид, что сплю, а положенную порцию исправно относил Трезору, который чувствовал, что у меня что-то не так, лизал мне руки, скулил, а есть начинал только тогда, когда я уходил. Мне очень хотелось рассказать кому-нибудь о белке. Однажды за домашним заданием зашла Танька, соседка напротив, мы учились в параллельных. Она была красивая девочка, очень мне нравилась. Летом мы часто вместе делали фотографии... Ее отец, дядя Толя, всегда смотрел на нас и шутил: «В любовь играете?». Короче, человек она, как мне казалось, не чужой и я решил ей про белку рассказать. Сбивчиво все рассказал и... Она стала смеяться.

– Вот это ты даешь! Ты что: влюбился в эту белку? У меня папа каждую зиму по 50 штук таких с охоты приносит, может и мне плакать по ним?

Я ее выгнал. Стало вдруг страшно за белку: вдруг и ее дядя Толя однажды убьет на охоте? Я решил ее найти, поймать, принести домой, пусть хоть обругается, посадить в клетку и тем спасти. Я пошел в лесничество к Лешке. Надо было посоветоваться с ним, где ее искать, как поймать и вообще, как быть.

– Сынок, переживаешь ты так сильно зря. Если бы ты ее ручной сделал, то да, ее бы сразу убили, она же людей бы не боялась. А она ведь ни к кому, даже ко мне и близко не подошла. Тут ее, знаешь, сколько народу кормить пыталось? Я тебе говорить не хотел просто. А она – только к тебе... Так что не бойся, не убьют. Ушла она в неизвестном направлении, кто же ее женихов знает, где они живут? Так что живи, знай, что доброе дело сделал, живую душу спас и все.

Он еще долго убеждал меня. Я не поверил ему. Мне казалось, что я приду в лес и мне повезет, найду ее.

К тому времени уже стала появляться трава, и надо было пасти наших коз и овец. Эта работа была мне очень на руку, потому что скотина ходила за мной хвостом, и можно было не только в лес, но и куда угодно идти с ними. Я стал ходить в лес. Особенно внимательно рассматривал деревья вокруг прошлогодних зимних вырубков, мне казалось, что она непременно вернется на старое место. Ее не было нигде. Я даже подумал, что ее уже и нет совсем – казалось, лес я обошел весь и осмотрел так, что каждое дерево стало для меня узнаваемым.

Прошло около двух месяцев. К концу шел учебный год, несмотря на зимнюю беличью эпопею, я выходил круглым отличником.

Снова стал играть с друзьями, пас, правда, в лесу, но это, скорее, по привычке. Белку искать я перестал.

27 мая у меня был день рождения. Праздник для меня всегда почему-то грустный. Настроение всегда в этот день не самое лучшее. Пасти я любил, поэтому пошел, хоть в честь моего дня меня могли и освободить от трудовой повинности оба моих деда.

Далеко в лес идти не хотелось. Я присел в дубках перед дачами на край оврага и стал смотреть вниз. Я люблю весну. Разную. От начала марта до 1 июля. Каждый день весны красивый и каждый – разный. Не перескажешь, у кого глаза есть – тот видел. Я раздумался, залюбовался, даже, кажется, задремал на теплом склоне. Вдруг услышал, как ругается белка! Я вскочил, а потом опять сел. Стал искать ее глазами. В деревьях никого не было. А «ругань» слышалась где-то совсем рядом. Опустив голову, я увидел ее! Это была она! Я ее узнал! Она бежала, то и дело останавливаясь, по прошлогодней траве, а за ней бежали бельчата! У меня, что называется, «в зобу дыхание сперло». Я смотрел, как они подбежали к дубу, под которым я обычно прятался от дождя, под которым за это время сидел раз сто, наверное!

Я позвал: «Белка!». И закрыл глаза. И снова открыл, потому что шорох в траве, потому что белка была у меня на руках! Она ласкалась об меня! Я погладил ее. И, как в мечтах, она подставила мне голову! Еще долго она жила там, а я приходил с овцами к ней. Уже без орехов часто. Она приходила не за орехами, а за лаской...

Она заворочалась, и я открыл глаза. Она пыталась спрятать в подушку нос. Я понял, что лицо мерзнет. Положить ей вторую руку на щеку, чтобы немного согреть, я не мог, боялся разбудить. Поэтому поднес ладонь близко-близко и, пока не почувствовал идущего от щеки тепла, держал руку на весу, согревая ее.

Слушайте аудиовersion рассказа «Приручить белку» на нашем сайте «Ул-литка». Адрес веб-ресурса: <http://ulgorod-folk.wixsite.com/ul-litka>.



Илья Павлов

ОБЪЕКТИВная реальность









Егор Б-тов

Один день экспедиции

Заметки начинающего фольклориста

Дорога заняла около полутора часов. Дремал, время от времени просыпаясь и смотря в окно на проплывавшие мимо поля, деревья, на небо и землю, дорожные знаки и остановки. Прохладное небо было чистым.

Новые ощущения начали поступать в мое еще не проснувшееся и затекшее от неудобных сидений «ГАЗели» тело сразу, как только ступил на землю. Машина уехала, а передо мной предстало картофельное поле, освещаемое лучами просыпающегося светила.

Я обернулся, увидел за хлипким деревянным заборчиком трехэтажное здание из белого кирпича, окруженное березами, и монумент Ильича.

– Наверное, это она и есть, – сказал я вслух самому себе и, смотря по сторонам, пошел справа, в обход школы. Разглядывая окрестности и наслаждаясь свежим загородным воздухом, не заметил, как наступил в коровью лепешку. К счастью, лепешка оказалась засохшей. Я прошел через школьный двор вдоль футбольного поля, пестрых клумб с незамысловатыми, но симпатичными цветами и турников, покрашенных в разные цвета, и увидел голубую дверь – вход в школу. На стенах были нарисованы цветы, животные, в том числе белая коза с огромными глазами.

Войдя в школу, я увидел висящий на стене стенд с фотографиями соревнований и конкурсов. Слева был кабинет директора, справа – лестница. Я поднялся на второй этаж, отыскал нужную мне дверь, обратив внимание на резные лавки, стоявшие в коридоре. Постучал и, услышав в ответ: «Войдите», – заглянул в комнату. Это была классная аудитория, по центру которой стоял ряд столов, а у стены, за ноутбуком, сидел бородатый мужчина профессорского вида в очках, увлеченно что-то печатавший.

– Добрый день, – поздоровался я.

– Здравствуйте, – ответил мужчина. – А вам кого?

– А мне бы Николая Григорьевича.

– Он вышел, скоро должен подойти. А вы, наверное, Егор?

– Да, я.

– Николай Григорьевич сказал, что вы должны приехать. Подождите, он скоро подойдет.

– Я, пожалуй, подожду в коридоре, – сказал я и вышел из кабинета.

Я успел заметить спортивный городок в соседнем холле, турники, кольца, лестницы. Через несколько минут появился руководитель – Метлов Николай Григорьевич. Он был среднего роста с седой бородой. На нем была серая майка и спортивные штаны. Я видел его раньше, он заходил пару раз к нам на работу, приносил что-то ремонтировать и просто о чем-то поговорить с Ильей. Он сказал, что практически все фольклористы работают по деревням и не стоит ехать к ним, хотя бы потому, что трудно будет найти их. Он посадил меня за аппаратуру – оцифровывать материал, записанный участниками экспедиции.

Смотреть на бегающие зеленые бугорки программы, напоминавшие пульс механического чудовища, было тоскливо. Пару раз входили девушки, одна спросила зарядник, а другая зашла просто познакомиться – это была Аня. Когда кассеты кончились, снова появилась Аня и предложила мне помочь ей с приготовлением обеда. Любая смена деятельности была для меня радостью, тем более что я, в принципе, люблю готовить. Мы варили рыбный суп из консервов. Через час по команде Николая Григорьевича (или, как его за глаза называли, ЭНГЭ) люди, не пошедшие сегодня по деревням, сели есть.

Расправившись с супом, который получился на удивление вкусным, я услышал дивный голос, лившийся с улицы. Раньше я не слышал подобного. Звуки захватывали дух, хотя слова были еще не различимы. Казалось, что голос льется с неба и принадлежит самой красивой Богине из всех, которую когда-либо знало человечество. Через пару мгновений я понял, что так оно и есть.

Пение сменилось смехом и разговором, и в столовую вошла девушка. Влюбился я с первого звука, долетевшего до моих ушей, с первого взгляда, коснувшегося ее. Красивая, стройная, на лице улыбка, казалось, она вся светится от счастья. Темные волосы, чуть ниже плеч, были спрятаны под косынкой. Она была одета в красную ветровку, юбку с нарисованной на ней ветряной мельницей и черные резиновые сапоги.

Познакомились мы с ней позже, на вечерней планерке. Тут собирались все участники экспедиции и подводились итоги дня, обсуждались планы на завтра, задания, и руководитель решал, кто с кем будет

работать. Как бы странно это ни казалось, но рука судьбы – в лице НГ – определила, что завтрашний день для меня пройдет не иначе как в компании с этой девушкой, Дашей. Мне было интересно: она уже давно работает в этой области, у нее большой опыт, многое знает и умеет, а главное, что подходит к работе со всей серьезностью, и, если захочет, то добьется того, что в деревне не останется ни одной песни, стиха или обряда, который бы Даша не знала.

Планерка закончилась, но перед тем как отправиться спать, все парни высыпали на улицу покурить. Ночное августовское небо было усеяно звездами, на траве лежала вечерняя роса, а воздух приятно охлаждал легкие. Стоя на улице, люди, вышедшие на свежий воздух, разговаривали абсолютно обо всем и обсуждали любые вещи с разных точек зрения. Слушать их было интересно. Я, не знавший почти никого из них, слушал очень внимательно. Был объявлен отбой с предупреждением о том, что после этой команды шум или разговоры могут повлечь за собой «некие последствия», пока еще неизвестные для меня. Докурив, все разошлись по комнатам через темные коридоры деревенской школы. То и дело спотыкаясь и всматриваясь в темноту, я добрался до кабинета на втором этаже.

Идя по школе от столовой до комнаты, я уже начал думать о завтрашнем дне, предстоящей работе и, разумеется, о Даше.

Но этим день еще не закончился! Войдя в комнату, а, точнее, в класс, в котором довольно хаотично стояло чуть больше десятка кроватей, я увидел на маленьком столике у окна зажженные свечи, пламя которых отражалось на крашенных двухцветных стенах. Мужская часть экспедиции собралась возле стола, расселась на кровати, и Паша, здоровый бородатый парень, лет 30-ти, напоминавший мне почему-то богатыря, самого что ни на есть русского доброго молодца, как в фильме про Алешу Поповича, начал что-то рассказывать. А когда он рассказывает, невозможно не слушать, потому что каждое его слово произносилось с какой-то безумно увлекательной и заманчивой интонацией.

Рядом сидел Женья, которого я уже знал: как-то встречались на праздновании по случаю 27-летия Ильи. Евгений тогда показался мне веселым человеком. Сейчас Женья сидел с книжкой (как я понял, это было нормальное его состояние), но все-таки следил за беседой и довольно часто говорил о чем-то неземном. На столе появилось две бутылки: одна совсем маленькая с чем-то красным и надписью «Расторопша» производства местного завода, а вторая большая и с веществом нежно-зеленого цвета. В свете свечи казалось, что оно само по

себе немного светится. Такого я еще никогда не пробовал! Настойка на можжевельнике была настолько вкусной и пилась так легко... В горле оставалось тепло, и на несколько минут – приятное послевкусие. Настойка была сделана человеком, которого я раньше никогда не видел: это был Сергей, знавший толк в самодельном алкоголе. Покурив, все разошлись по своим кроватям и вскоре уснули.

Кровати были маленькие, с тонкими матрасами и чтобы в них уместиться, нужно было лечь поперек двух коек, поставленных рядом. Спать было неудобно, а в спину всю ночь упирались бортики. Но, несмотря на это и ранний подъем, я выспался и проснулся с хорошим настроением. Умывшись и позавтракав, фольклористы занялись обработкой материалов, собранных за неделю: нужно было оцифровать записи, сделать расшифровки, разобрать фотографии и видео, кто на компьютере, а кто с плеером и в наушниках. На улице капал мелкий дождик.

В три часа он кончился, небо стало ясным, только с одной стороны были тучи, которые еще не успели уползти далеко. Все вышли из школы и двинулись в сторону Лебедевки – маленькой деревеньки, расположенной рядом с Астрадамовкой. Немного постояв и поговорив о чем-то отдаленно напоминавшем смысл бытия, все двинулись каждый в свою сторону: парни на кладбище, посмотреть, кто там похоронен, сделать снимки интересных крестов и надгробий, а мы с Дашей – в самую Лебедевку. Прошли несколько покосившихся домов и увидели бабулю, сидевшую на крыльце.

Подойдя к дому, Даша завела разговор и объяснила, что мы – фольклористы из города, и нам было бы интересно поговорить о том, как жили раньше, как справляли праздники, какие песни пели и в какие игры играли. Бабуля, немного посомневавшись, позвонила подругам и заманила их фразой: «Срочно, приходите!». Когда все были в сборе, мы вошли в дом и начали беседу. Бабушки пели, рассказывали о погребальных ритуалах и отвечали на вопросы, которые задавала им Даша. Я сидел в стороне, снимал видео, молчал и смотрел на девушку. Она иногда поворачивалась ко мне и приятно улыбалась. Ее улыбка была ослепительной и трогательной. Всё внутри переворачивалось, словно поток тепла устремлялся напрямиком в грудь, а сердце начинало биться чаще. Невозможно было оторвать от нее взгляда, а когда это мне все-таки удавалось, то приходилось поправлять камеру, объектив которой сползал в сторону. Через пару часов мы поняли друг друга, решив, что уже пора и, попрощавшись, вышли из дома.

Мы пошли в сторону кладбища.

Дорога оказалась не такой, как ожидалось, а, точнее, мы пошли немного в другую сторону. Мы разговаривали о жизни, учебе, интересах. Улыбались, смеялись, наблюдали за окружающим. Впереди виднелись деревья и руины: судя по всему, здесь когда-то была ферма или что-то вроде того, поле и совсем далеко – амбар. За беседой я и не заметил, как мы подошли к нему, а кладбища так и не было видно.

Я залез на здание из бетона и постарался понять, где же все-таки находится кладбище. Вдалеке виднелись Астрадамовская школа, Лебедевка, Утесовка, в которой одиноко стояла полуразрушенная церковь. Я слез с крыши амбара, и мы пошли через поле в сторону небольшого леса. По нашим предположениям, там должно было находиться то, что мы искали.

Шли мы через высокую желтеющую траву, смотрели на бабочек, которых здесь было много. Полевые цветы выглядывали из высокой травы. Время от времени приходилось обходить маленькие елочки, хотя это было не совсем удобно с учетом того, что мы держались за руки с того момента, как я помог ей преодолеть пару-тройку ям.

Вечерело. От облаков, висевших утром столь низко над землей, остались только мелкие полурасеянные пушинки. Ее рука была теплой и легкой, а кожа – мягкой и приятной. Глаза блестели, она улыбалась, на щеках был румянец.

Мы не заметили за разговорами, как подошли к дороге, ведущей прямо к воротам небольшого деревенского кладбища. Говорили о причинах, по которым самоубийцы хоронят за его пределами. Кладбище было довольно типичным, и даже упавшие кресты не казались старыми. Хотя был вечер, нам захотелось попасть сюда ночью. Мы ходили по погосту, осматривая надгробья и размышляя о том, что по фотографии и самой могиле можно сказать о человеке. В очередном узком проходе между могилой и высокой сосной я, не заметив опасности из-за того, что постоянно глядел на Дашу, оступился и чуть было не наткнулся на огромный гвоздь, торчавший из большого деревянного креста. Мы поняли, что это знак и не следует ходить по такому месту просто так. Решили возвращаться в школу, тем более что время уже было довольно позднее.

На обратном пути мы шли, иногда держась за руки, а иногда в обнимку. Для меня каждое такое действие девушки «что-то» значило. Хотя я, конечно, понимал, что это мне только кажется; тогда мы просто шли рядом. Иногда бывало наоборот: Даша отпускала мою руку,

но потом снова обнимала меня, и мы шли дальше, разговаривая и смеясь. Подходя к центральной дороге, по которой, если идти прямо, минут через 25-30 можно было оказаться в Астрадамовке, Даша запела. Закрыв на несколько секунд глаза и представив что-то неясное, неземное, но несомненно прекрасное, я слушал и наслаждался. Открыл глаза, она продолжала петь. Я огляделся по сторонам: вокруг было очень красиво. Подсолнухи, возвышающиеся над полевой травой, словно кто-то капнул краской на полотно, а потом подумал и нарисовал в центре темный круг, закатное небо, слоенные облака.

Становилось прохладно, августовское солнце постепенно приближалось к горизонту, и по телу стали бегать мурашки. Но от Даши веяло теплом. Нежным, ласковым теплом. Моя рука похолодела, а ее была очень теплой, не хотелось отпускать ее ни на секунду, несмотря на то, что сама девушка начала поеживаться.

– Ты замерзла?

– Да, немного, – ответила она.

– Эх... Можно, конечно, пойти быстрее, но...

– Что но?

– Но тогда мы меньше пообщаемся, а мне бы этого не хотелось. – сказал я.

– Ну что ж, тогда, мы не торопимся... – ответила она. У нее были красные круглые серьги, которые почему-то очень мне нравились.

– Но я так не могу, когда девушка мерзнет. Я отдам тебе свою рубашку! Правда она вряд ли сильно поможет...

– Нет! Не надо, иначе ты тогда как? Совсем же замерзнешь! Всё нормально.

Она улыбнулась так мило, что мне сразу стало как-то теплее, причем не физически, и я немного согрелся.

– Смотри: бабули! – шепнула она.

На лавочке возле дома сидели три бабушки и о чем-то оживленно разговаривали до того момента, как увидели идущую в обнимку по дороге пару. Они замолчали и, улыбаясь, наблюдали. Девушка ускорила шаг и подошла к ним.

– Здравствуйте!

– Здравствуйте! – протянули бабули.

Я подошел спустя пару секунд и тоже поздоровался.

– Мы из Ульяновска из педуниверситета, у нас тут экспедиция...

– А, знаем-знаем! Только что были у нас парни, мы им уже все рассказали.

Попытки Даши выяснить, могут ли они вспомнить еще что-то – из песен, например, – оказались тщетными. Бабули были в добром расположении духа, но наотрез отказались тревожить свою и без того растревоженную память. Попрошавшись, мы двинулись дальше. До ужина оставалось совсем немного времени, скорее всего, мы даже опаздывали на него, а НГ этого очень не любит. Но это всё было не важно! Заметив на безымянном пальце Даши золотое кольцо с орнаментом, вероятно, доставшееся ей по наследству, и, отчего-то переволновавшись, я спросил:

– Ты замужем?

– Да, – ответила она, – за католиком!

И снова улыбнулась.

Я думал о том, что она, быть может, самая интересная девушка из всех, но... уже замужем. Потом выяснилось, что кольцо просто-напросто досталось ей от бабушки, а обручальное все-таки носят на правой руке.

Это кольцо выручало ее несколько раз в экспедиции. Время от времени приходилось создавать легенду о ее браке с Пашей, а иногда даже делали искусственный живот, якобы ребенок – их совместное творение. Так было проще расположить к себе недоверчивых бабуль, с легкостью открывавшихся семейной паре.

Паша знал ее дольше меня. В прошлую экспедицию с НГ она приехала, как я понял, именно по приглашению Паши. В общем, в экспедиции они были словно муж и жена. Мы снова заговорили. На этот раз об учебе. Постепенно разговор перешел к тому, что неплохо было и мне спеть что-нибудь. Я хотел, но стеснялся, ведь голос мне мой и самому-то не особо нравится, да и к тому же рядом со мной девушка с голоском ангела.

– «Проклятый старый дом», – объявил я и стал вспоминать слова.

– О, клёво, мне нравится эта песня!

Я затянул. Получалось вроде неплохо, Даша стала подпевать. Мы шли под руку. Мне было хорошо рядом с ней. Хорошо просто от того, что она рядом... Как было бы здорово растянуть этот миг на долгое время, опоздать на ужин, провести с ней наедине еще несколько минут.

Но реальность спустила меня с небес на землю. Я не заметил, как показался поворот на ульяновскую дорогу и сразу за ним – здание школы. Даша, когда до школы оставалось 50 метров, оставила меня и побежала к тем, кто стоял возле двери. А я, не спеша, наедине с вос-

торгом и впечатлениями от вечера, проведенного с ней, в некоторой обиде, что она оставила меня, дошел до школы и закурил.

Это был один из самых запомнившихся дней первой и единственной моей экспедиции. Нет, это был один из самых запомнившихся дней всей моей жизни.



Гость «Лампы»

Александр Лайков

«Чтоб в круг собирались поэты!»

* * *

В моём краю в яры вырастают вербы,
А в корни верб – стальные якоря.
В белёных трубах воют злые ветры,
И жизнь хранят сугробы января.

Как ржавый бинт, рывком сорви коросту,
Заройся в снег по локоть – и замри! –
Почувствуешь, как маленький отросток
Толкается в ладошку от земли.

Пускай живет и греется до срока.
Зачем губить зародыш вербы зря?
Его судьба прекрасна и жестока –
Держать корнями в бурю якоря!

* * *

Я с трудом размыкаю капкан немоты,
Не могу докричаться до ровней своих...
А на Красном бугре вырастают кресты
Закадычных друзей — одногодков моих.

Ах, какие все были они пацаны!
Но спились иль погибли в разборке крутой...
Мы – последние дети великой страны.
Это кто там стоит у обрыва с клюкой?

Лейтенанту в походах не жмут сапоги:
Он в боях пол-Кавказа прошёл без дорог

И в Чечне схоронил половину ноги,
Но безногий сапог, как зеницу, берёт...

Я оглох от словесной пальбы и вранья,
От казённых бумаг леденеет висок...
На колхозных полях – караван воронья,
Да седую полынь заметает песок.

На лугах у Икрянки растёт лебеда.
На корявых дорогах – удушливый смог...
И опять я шагаю, видать, не туда.
А куда, если ерик совсем пересох?!

Есть примета, что много грибов не к добру:
Будет много гробов и семейных утрат.
...Это кто там стоит на кручёном яру –
Мой двойник, лейтенант или маленький брат?!

* * *

Анатолию Чеснокову

Я в прошлом столетии печь затопил -
Завыла чугунная вьюшка!
Дымком потянуло до самых стропил,
И брагой заполнилась кружка.

А угли с шипеньем стреляли к ногам,
Как брызги ядерной вишневки!
И, босый, молился с похмелья снегам
Кудрявый поэт из Теньковки.

Замерзнешь, дружище! Ступай-ка ты в дом,
Согрей свою душу и тело...
Опять по России раздор и содом,
И тьма бесенят налетела.

Но рано нам мерить терновый венок,
Обжегшись о холодность мира:
За нами – Россия! Языков и Блок,
И Пушкина звонкая лира!



Подкинем поленьев, чтоб дым к небесам,
 Чтоб в стужу запели капли!
 А утром поклонимся древним местам,
 Где вечнозелёные ели.

А самая старшая память хранит
 О встрече друзей достоверно.
 ...Истлеют дискетки и рухнет гранит,
 Одно только Слово – бессмертно!

Ты слышишь, дружище, певучую речь?
 Не все еще песни допеты!
 Кудрявый потомок затопит нам печь,
 Чтоб в круг собирались поэты!

Александр Дашко

Я наелся ягод волчьих.
 Стал, как волк, матёр.

Посреди заветных строчек
 Запалил костёр.

Здравствуй, Волга, бакен-пеленг,
 И столетний вяз,
 С камышом в кувшинках ерик!..
 Я сегодня – ваш!

Там, где был я, мир порочен,
 Город – нелюдим.
 Кто-то плачет, кто хохочет,
 Кто-то пьяный в дым.

Кто обрывом, там, где омут,
 Два шага – и вниз...
 Не рассказывай другому
 Про такую жизнь!

Про утраченную нежность
 К деревьям и псам,
 Как бродил я, безутешен,
 По глухим лесам.

Как зверел в плену бессонниц,
 Как, бывало, пил...
 Не предал друзей и совесть,
 И кого любил!

А вот к небу был причастен:
 Я – рыбацкий внук,
 Заселял, как Бог, – Прикаспий
 Малышней белуг!

В ПВО, на дальней «точке»,
 Был судьбой храним.
 ...Я хочу не ягод волчьих –
 Горсточку рябин!

НОСТАЛЬГИЯ

Это осень, мама, осень.
Иней на листве.
И роятся мысли-осы
В буйной голове.

Облетает рыжий волос –
Плата за стихи.
И, как будто расколось,
Сердце от тоски.

Вспоминаю Волгу, вербы,
Первые слова...
Как давно я дома не был,
Не колот дрова!

Сор в глаза и драйв по нервам!..
Но назло врагам
Остаюсь, как бакен, верным
Здесьним берегам!

Здесь – цветы живые в банке –
Память о сестре.
Я поправлю фото в рамке
На седом бугре...

А года бегут, как поезд,
И резвей коня!
Но чиста душа и совесть
В чёрной злобе дня.

Здесь – печаль моя и радость,
Горе от ума,
И любовь с горчинкой малость,
Посох да сума.

Сколько я сапог протопал
Пешим по Руси!
Жди меня, дружище-тополь,
Вишня, не грусти!

Завтра к отчему порогу
Выйду на заре.
...По утрам знобит немного –
Осень на дворе.

В ИКРЯНОМ

Отечества и дым
 Нам сладок и приятен!
Гавриил Державин

Вот опять я босой, без рубашки и кепки,
 В жаркий полдень стою на пригорке крутом,
 Где мои православные русые предки
 Всей артелью над Волгой поставили дом.

Стал посёлок намного уютней и краше!
 И, как век, опалённый тугим кумачом,
 Обложился по самые древние крыши
 Красно-бурым и белым кой-где кирпичом.

На высоких верандах – корзины черешен.
 Не в печах, а в духовках пекут пироги.
 Красотища кругом! Да не видно скворечен,
 И беднее уловы из вечной реки...

Отступает вода. Дальний берег всё ближе.
 Все слышней над ракитником гомон грачат!
 А над жёлтым песком головёнки мальчишек,
 Точно крепкие шляпки опёнков торчат!

Зной густеет, как сок передавленной сливы.
 Выгорает трава вдоль седых берегов...
 По горячей тропе я спускаюсь к заливу,
 В голубую прохладу, как в толщу веков.
 Все печали мои, как рукою снимает,
 Утишается боль, отступает беда!
 Кто сказал, что живую вода не бывает?
 В речках детства осталась живая вода!

Я наплаваюсь всласть и взойду на пригорок
 Просветлённым душой и таким молодым!
 ... Дым Отечества сладок, приятен и горек.
 Только где он, Отечества сладостный дым?

По-над Волгой туман. Красный бакен мигает
 Догорающим углем в древесной золе...
 Клён печально шумит – клён меня понимает,
 Прикипая корнями к родимой земле.

ПРИМЕТА

Когда под моряной пружинили ветки,
 И волны качали изменчивый мир,
 Я бросил на стрежень три звонких монетки,
 Чтоб снова вернуться к реке Бахтемир.

Чтоб снова увидеть морские разливы,
 По берегу детства пройтись босиком...
 Услышать, как в сумерках падают сливы,
 И гуси на Каспий летят косяком.

Чтоб вспомнить друзей закадычных ватагу,
 Футбольные страсти и знойную тишь...
 Но там, где купал я гнедую конягу,
 В протоке шумит шелопутный камыш.

Белёсые чайки похожи на плавки,
 Рыбацкие шлюпки гребут по волнам.
 И вечный трудяга – знакомый мой бакен,
 Рисует фарватер гудящим судам.

Я помню: под вёслами дымно и жарко,
 Мы смолим бударку с умелым отцом.
 ...Где вёсла и добрая наша бударка?
 Спилили тутник у ворот, за крыльцом...

Под ним мы в обнимку с девчонкой сидели,
 Всё было впервые и сложно у нас.
 И сердце стучало на самом пределе,
 Как севший на мель одинокий баркас.

...Гуляет моряна, и сушатся сетки.
И чалится к пирсу могучий паром.
А я уезжаю. Бросаю монетки...
И белая лебедь мне машет крылом!

ПЕРВОКЛАССНИЦА

Мама мыла раму.
Из «Букваря»

Над городом курлычат журавли,
Как будто им пространства мало!
А первоклашки смотрят в «Буквари»
И по слогам читают: «Ма-ма».

О, сколько им явлений суждено
Открыть за школьную программу!
...Осенний дождик тренькает в окно,
А Маша снова моет раму.

И сиротливо смотрят из угла
Забытый мяч и кукла Барби.
А школьница вертлява, как юла,
Косички прыгают по парте.

Сосед за бантик дернул не со зла
В порыве детского азарта...
Девчонка неуклюжа и мала,
Но расцветёт ещё внезапно!

Семь раз с деревьев облетит листва
И возвратится вновь на ветви,
Когда мальчишка вымолвит слова,
Которых чище нет на свете!

Отведает печалей сентября
И горечь школьного романа...
И всё опять начнется с «Букваря»,
Где по слогам читают: «Ма-ма!»

ПОРТРЕТ

Было молодо-зелено,
А теперь уже – дед!
И смотрю я растеряно
На знакомый портрет.

Всё я знаю до чёрточки
От прыщей до усов...
Осень веет из форточки
Желтизною лесов.

Облаками припудренный
Догорает восток.
Мне и сладко, и муторно!
Время гладит висок...

А на карточке матовой
Мне четырнадцать лет.
Я такой невнимательный,
Озорник и... поэт!

Там любовь моя первая,
Стук в окно и сирень...
Но смотрю я уверенно –
Брюки-клёш и... ремень!

С калмычатами лазаю
В сад, где горький ранет.
Там – Европа и Азия,
А Америки – нет!

Голос времени слушаю,
Ко всему я привык...
– Наша Родина – лучшая! –
Внучка мне говорит.

С ней я в полном согласии,
Но ворчу, как сверчок...

Замечаю на лацкане
Комсомольский значок!

К чёрту, сивую бороду,
Не желаю стареть!
И смотрю я по-доброму
На знакомый портрет.

* * *

Начинается год високосный
С лютой стужи и горьких утрат.
На холме коченеющем сосны
В карауле почётном стоят.

Шебаршит в опереньях смолистых,
Как слеза, замерзающий сок.
Индевеющий снег с обелисков
Налипает свинцом на висок.

Что же делать, мой пламенный лирик?
Сколько было бессрочных разлук!
Может, скоро и мне панегирик
Пропоёт мой испытанный друг.

Все мы смертны: дурак или гений.
К неизбежному душу готовь!
Грех зачатья и мрак заблуждений
На земле искупает любовь.

Я любил! И юнцом безмятежным
Всласть напился медовых отрав.
...Кто там бродит над холмиком снежным
За калёным железом оград?

Я почти кришнаит или мистик,
Хоть крещёный в купели, кажись...
Верю в логику нажитых истин
И чуть-чуть в запредельную жизнь.

В мир пернатых, зверей и растений
Все уходим в назначенный срок.
Может быть, я былинкой весенней
Прорасту на скрещенье дорог.

Поклонюсь я Наталье прекрасной:
И в астрале мне станут милей
Две дочурки – два солнышка ясных –
Продолженье кровинки моей!

ЯНВАРСКИЕ НОЧИ

Январские ночи студёны и долги.
Луна налипает на стёкла фрамуги,
И сыплется хвоя с божественной ёлки,
Как будто заколки с причёски подруги.

И тикают ходики возле гардины,
И капает ямбом вода из-под крана,
Как звонкая рифма великой Марины –
Слегка приглушённо, морозно и странно.

Воркует голубкой вода в батарее.
Тепло и уютно. Все в доме уснули.
Янтарною каплей густой акварели
Мерцает нарядное платье на стуле.

Но дышат соблазном другие картины,
Старинные вальсы, бенгальские свечи,
И вкуса прогорклой осенней калины
Открытые томно роскошные плечи!

Все было и будет прекрасно и мудро:
И ёлки, и вальсы, и шорохи снега!
Январь истекает. За окнами утро.
И длится любовь до скончания века.

* * *

Опять осенняя хандра,
Туман безденежья...
И небо пасмурно с утра –
Куда тут денешься?

Сидишь в потёмках, как в кино,
Сердечко мается.
А мне бы солнышка в окно,
Хоть самой малости!

Дождинки тренькают в стекло
Гитарным тремоло.
Уже с карниза натекло –
Но это временно.

Тускнеют краски октября,
Деревья в инее.
И дышит лист календаря
Погодкой зимнею.

Суровой стужею – январь,
Февраль – метелицей...
Хандра, безденежье, печаль, –
Всё перемелится.

Ударит первая гроза,
Взойдут подснежники.
И я взгляну в твои глаза,
Такие нежные!

Растопит холодок в крови
Лучами вешними.
И губы влажные твои
Запахнут вишнями!

ОСЕННЯЯ БЕССОННИЦА

Не любви я, а бессонницы
В эту осень достоин.
От луны светлеет в горнице,
Пахнет кофе и покоем.

Одиночеством и вечностью,
Вперемешку с алкоголем...
Мы с компьютером доверчиво
До рассвета поглаголим.

Здравствуй, сущность виртуальная,
Где себя я значу Богом!
Наберу с тоской: «Икрьюное» –
И повеет в полночь Волгой.

Захочу – добавлю снежности,
Запущу в котла лимоном!
...Не хватает женской нежности
В этом сумраке лиловом.

Но, когда я трону клавиши,
Словно струны с перебором,
На дисплее вдруг покажется
Та, которой очарован.

Я зову её отчаяно!
Жаль, что это виртуальность...
Наши кольца обручальные
Отзвенели в прошлый август.
Не любви я, а бессонницы
В эту осень достоин.
Только ночь – моя сторонница,
Только ночью я свободен.

* * *

*Ты меня никогда не забудешь...
Андрей Вознесенский*

Ты меня никогда не любила.
Намекала: «Потом полюблю!»
И, когда угасало Светило,
Сниззошла на погибель мою.

А глазищи – зелёного цвета,
Плечи – зной астраханского дня...
Берегиня, – почти не одета, –
Ты зачем искушала меня?

Обо всём мы друг другу сказали
Накануне греха и мечты.
Так зачем ты, как ведьма босая,
Наводила обратно мосты?

А потом, когда звёзды мигали,
И краснела на небе луна,
Ты зачем утопила в бокале
Обручальные кольца до дна?

А когда на старинном серванте
Отчитала кукушка года,
Ты зачем упорхнула из платья
Из последних одежд, без стыда?

«Ничего не рассказывай маме», –
Ты шептала, обычай храня...
Но зачем растворилась в тумане
На крылечке, целуя меня?!

* * *

Я по тебе скучаю,
Как смычок по скерцо.

Паучок печали
Заползает в сердце.

Стали дни тоскливы
И бессонны ночи...
И горчит калиной
Золотая осень.

Больше не услышу:
«Милый мой... Хороший!»
Больше не увижу
Сарафан в горошек,

Очи-ежевички, –
Аж, ползут мурашки! –
Солнечные блики
В озорных кудряшках.

Опадают листья
В ледяную заводь...
Я твои сжёт письма.
А куда деть память?!

НАТАШЕ

Пожинаю, что посеял:
Лишь бессонницу да песни.
Закружил норд-вест осенний
И принёс худые вести.

Мама пишет, что болеет,
И неладно с младшим братом.
...За окном проспект темнеет,
Пахнет хвоей и асфальтом.

Город спит, умытый ливнем,
От луны на лужах глянец.

Я один, как белый филин,
 Со словами ночью маюсь.
 Ноутбук погас, мигая,
 Затерялась где-то флешка...
 У меня судьба такая:
 То орлом парит, то решка.

Седину твою заметил.
 Это мне намёк на старость.
 Сколько лет с тобою вместе,
 Как бы заново рождаюсь?!

Славно пелось нам вначале.
 И не хмурь напрасно брови! –
 Я все беды и печали
 Врачевал твоей любовью.

Отзвенело в сотах лето,
 Мёд горчит и вяжет малость...
 Пусть все песни канут в Лету,
 Я навек с тобой останусь!

* * *

Уже пора задуматься о Боге,
 Когда друзья уходят в небеса...
 В часы печали, гнева и тревоги,
 Я узнаю родные голоса.

Я вспоминаю дружеские встречи
 И наше пребыванье на земле!
 Симбирск, Свягу и костёр у речки,
 Картошку, испечённую в золе...

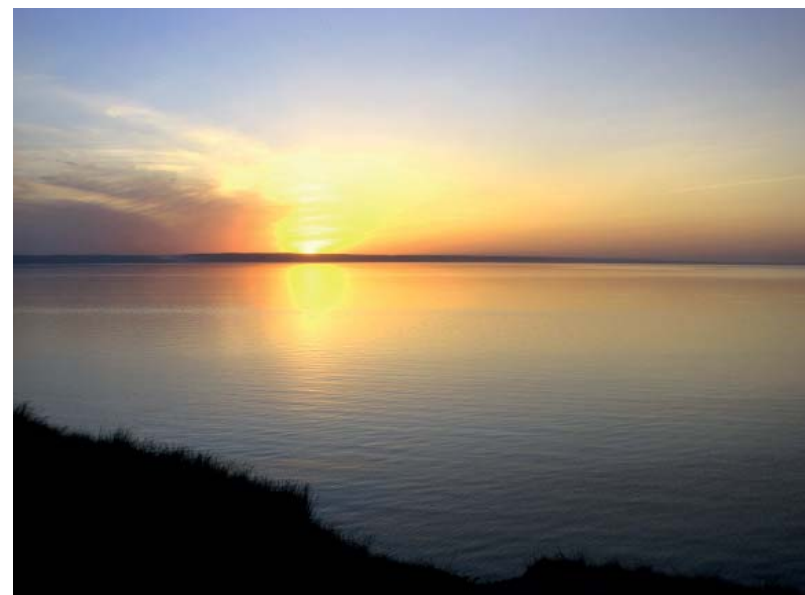
Мозоли первые, застольные аккорды
 И «красное» число календаря,
 Где паруса, как листья, были стёрты
 Холодными штормами ноября.

Судьба сплела в клубок противоречий
 Безденежье и злато на крови,
 Седой Кавказ и доблестные речи
 О Родине, о славе, о любви!

Стучалась стройка в купол небосвода,
 А в деревнях всходила лебеда.
 Высоцкий пел – кумир всего народа,
 И лозунг звал куда-то не туда...

А я в огромном неуютном мире
 Хранил очаг и детское «агу!»,
 Читал стихи в прокуренном трактире
 О яблонях на волжском берегу.

Я был, как Маугли, в чужой эпохе,
 Как белый лебедь рвался в небеса...
 Уже пора задуматься о Боге:
 Зовут в свой круг родные голоса.





ВОРОБЕЙ

Я когда-нибудь стану растением,
 Перейду в шелестенье страниц.
 Приходи ко мне в полдень весенний,
 С молодым тополком обнимись!

И почувствуй, как бродит по порам
 В ритме пульса живительный сок.
 Рвутся почки, и слышится шорох,
 Нарожденных до времени строк.

В прошлой жизни я был человеком,
 Не имевшим доходных рублей.
 На моих перепутанных ветках
 Поселился смешной воробей.

Все чирикает: зной или дождик.
 Даже вьюга ему нипочём!

Может быть, он опальный художник
 С городских позабытых трущоб?

Я поэт, не поладивший с веком,
 И отнюдь не плебейских кровей.
 В прошлой жизни я был человеком.
 Почрикаем, брат-воробей?

ПОД ЗНАКОМ ВОДОЛЕЯ

За окошком метель, как молочная пенка,
 Накрывает кварталы, дороги и лес.
 И луна, как забытая Богом копейка,
 Одинокое мерцает в копилке небес.

Ветер ломится в щель задубевшей фрамуги
 И скулит, как щенок, потерявший сосок...
 Я – февральский, дитя непогоды и вьюги!
 Вечный снег налипает свинцом на висок.

Что же делать? Бессмертья не будет – вы бросьте! –
 Но останется лунный и солнечный след...
 Вот февраль, куржавелый, пожаловал в гости,
 Чтоб напомнить, зачем я родился на свет.

Зимородок судьбы, я не рвался в герои,
 Рифмой тронул всего лишь с десяток сердец...
 А Россию люблю я до капельки крови,
 Как в боях до Берлина дошедший отец.

В журавлином строю хватит места солдатам.
 Беловежский разлом зарастает травой...
 Но смертельную боль от сапёрной лопаты
 Чую я поседевшей своей головой!

Будто кони летят, окаянные годы,
 Ложь ликует, и рвётся убойно тротил...
 И шатается твердь, и волнуются воды,
 Третий Ангел над миром уже вострубил!

Перед вечным забвением, на краешке века,
Я покаюсь во всех поднебесных грехах...
И Господь изречёт: «Возлюби человека!
Остальное – тщета или пепел и прах».

И когда я уйду – белый свет не померкнет! –
Крест дубовый мой путь увенчает земной...
Кто я есть и кем был на земле своих предков?
Да пребудет земля эта вечно со мной!

РУССКИЕ ПОЭТЫ

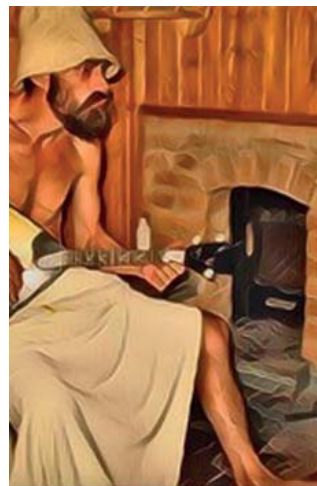
Баню натопил стихами...
Павел Радочинский

Не топите баньку горькими стихами:
Рукописи, знаю, не сгорят дотла...
Помню, как на зорьке вместе с петухами
В мокром палисаднике вишня расцвела!

Мы с тобою русские, а не самураи.
Не бросайте рифмы в топку для огня!
Нас не развращали в глянцевом журнале –
Веником берёзовым парила родня!

Угли воронные тлеют в поддувале,
В ковшике на доньшке греется луна...
Сторона родимая! Сколько повидали!
А стихи крамольные – горе от ума.

Плещутся метафоры в медном самоваре,
В мокром палисаднике вишня расцвела...
Ах, какие барышни здесь нас целовали!
Мы поэты русские – вот и все дела.



Ольга Сафронова

Ул-литки и другие «зверушки»



Содержание

В этом жанре мы еще не пили	5
<i>А. Цухлов</i> До востребования	7
<i>А. Цухлов</i> Дурак на поминках	42
<i>Е. Сафронов</i> Коммунальный юродивый	44
<i>А. Цухлов</i> Топот котов	58
<i>Е. С.</i> О вдохновении: выписки из жизни	76
<i>Е. Сафронов</i> Самозванцы	80
Экспедиционная	102
<i>Е. Сафронов</i> Самогонный джедай	104
<i>М. Сланцев</i> Рожь во спасение	109
<i>П. Половов</i> Приручить белку	121
<i>И. Павлов</i> Объективная реальность	128
<i>Е. Б-тов</i> Один день экспедиции	136
<i>А. Лайков</i> «Чтоб в круг собирались поэты»	144
<i>О. Сафронова</i> Ул-литки и другие «зверушки»	166

Зеленоламповцы

Егор Б-тов – ракетоносец и автолюбитель
Сергей Галанин – ИТ-шник и программист
Александр Лайков – поэт и журналист
Ирина Пикалова – солистка и дизайнер
Илья Павлов – фотограф и фольклорист
Павел Половов – журналист и гитарист
Евгений Сафронов – писатель и бабушкопоклонник
Ольга Сафронова – библиотекарь и рукодельница
Андрей Цухлов – поэт и уже прозаик

Соратники и слушатели

Александр Емельянов – буддист и лектор
Татьяна Раджабова – спортсменка и комсомолка
Владимир Левштанов – Цинна и бригадир

Группа ВКонтакте:

<https://vk.com/club142707745>

Сайт Ул-Литка:

<http://ulgorod-folk.wixsite.com/ul-litka>

Присоединяйтесь к нашей группе, участвуйте в конкурсах

Литературно-художественное издание

*Зеленая лампа 2.0
сборник*

Электронная публикация

Ульяновск, 2017

Верстка: Е. Нувитов
Технический консультант: С. Галанин

Фотографии и рисунки: И. Пикалова, И. Павлов, О. Сафронова,
<https://fotki.yandex.ru> и другие веб-ресурсы

Некоторые иллюстрации обработаны сервисом: <http://prisma-online.ru>

Формат 60x90/16.

Творческая группа «Ул-Липка»: <http://ulgorod-folk.wixsite.com/ul-litka>

